ПБ 21 1032

...кая библиотека.

Книга 35

Е. Н. Чириковъ

ВЕЧЕРНІЙ ЗВОНЪ

ПОВѢСТИ О ЛЮБВИ

Бѣлградъ

1932

РУССКАЯ БИБЛІОТЕКА.

КНИГА 35

Глубокоуважаемому и милому
Александру Ивановичу Бему
на память этих каникул.
Прага 1/XI 1931 г. Евгений Чириков.

Евгеній Чириковъ.

ВЕЧЕРНІЙ ЗВОНЪ.

(ПОВѢСТИ О ЛЮБВИ).

БѢЛГРАДЪ.
1932.

Инв. Бр. 1042

Всѣ права сохранены.
Tous droits réservés.

Универзит. библиотека „Св. Сава" БЕОГРАД

„Русская Типографія" — Жоржа Клемансо 25. —
Одговорни за штампарију М. И. Павленко.

Ледоходъ.

Весной сѣдому человѣку бываетъ грустно. Даже несклонный къ философскимъ размышленіямъ сѣдой человѣкъ начинаетъ прозрѣвать трагедію человѣческой жизни...

Побѣдная весенняя радость, сладкая потягота Земли послѣ долгой зимней спячки, ея вздохи и шепоты, ея острые пряные запахи, капель, напоминающая слезы — радостнаго счастія, звонкіе голоса жизни, вскрики пернатой твари и ея радостный гомонъ, появленіе грачей, вереницы журавлей въ небѣ и ихъ призывные волторны, все все, что совершается вокругъ, настойчиво напоминаютъ сѣдому человѣку, что наша жизнь не повторяется...

И потому весна — праздникъ юности, душа которой какъ волшебное зеркало, отражаетъ только радость бытія и даже проклятую смерть облекаетъ въ красивыя романтическія одежды...

Грустно весной сѣдому. Не хочется смотрѣть впередъ: сѣдой беретъ страннический посохъ и торопится уйти изъ міра дѣйствительности въ прекрасную волшебную страну... страну воспоминаній...

Казань...

Зима у насъ долгая, суровая, съ сугробами, метелями, съ здоровенными морозищами. Это про нашу зиму поэтъ написалъ:

Здравствуй, въ бѣломъ сарафанѣ
Изъ серебрянной парчи,
На тебѣ горятъ алмазы,
Словно яркіе лучи...
Ты живительной улыбкой,
Свѣжей прелестью лица
Пробуждаешь къ чувствамъ новымъ
Усыпленные сердца...

Зима лютая, студеная, а одежонка у студента — проблематичная. Съ виду — франтовато: черная поярковая шляпа съ большими полями, на студенческомъ жаргонѣ называется: „А ля чертъ меня побери!“ А уши всетаки не мерзнуть: они прикрыты длиннымъ волосомъ художественной шевелюры; вмѣсто шубы — пальто „демисезонъ“ или, на студенческомъ жаргонѣ — шуба на рыбьемъ мѣху, однако не продуваетъ, потому что на плечахъ — пледъ въ красивыхъ складкахъ. Вотъ только ноги въ высокихъ охотничьихъ сапогахъ, хотя и обернуты поверхъ носковъ газетной бумагою, а всетаки мерзнутъ. Впрочемъ, это отражается лишь на скорости передвиженія: не ходишь, а летаешь, только паръ изъ ноздрей валитъ, а изъ-подъ сапогъ, какъ изъ-подъ кованныхъ лошадиныхъ ногъ, похрустывающій снѣжокъ взрывается...

Что для студента морозы и метели, когда душа его всегда — въ пламени пожара, политическаго или любовнаго, а чаще того и другого вмѣстѣ!

За то какая-же у насъ въ Казани весна! Ни на какія Италіи промѣнять невозможно. Тамъ сегодня — зима, похожая на нашъ холодный дождливый и слякотный Октябрь, а завтра всталъ — сразу весна готова. Сразу взрывъ побѣднаго марша, точно внезапно заигравшій оркестръ военной музыки. А у насъ — мѣсяца три весенняя симфонія разыгрывается. Постепенное этакое наростаніе радости... Сперва слышно, какъ весенній ор-

кестръ инструменты свои настраиваетъ, а — душа уже настораживается, полная радостныхъ ожиданій. Это у насъ называется — солнце на лѣто, зима — на морозъ. А потомъ и начинается эта музыка. Сперва — пьяниссимо. Что-то и грустное и радостное, на однѣхъ скрипкахъ. Постепенно къ этой тихой грустной радости скрипичнаго пьяниссимо начинаютъ несмѣло другіе кроткіе инструменты приставать: застонетъ віолончель, вздохнетъ, какъ Эолова арфа, цитра, вскрикнетъ волторна, потомъ взрывъ радости подъ барабаны и литавры и все кресцендо и кресцендо...

Однимъ словомъ — у насъ симфоническій концертъ, а въ Италіи — военный духовой оркестръ, исполняющій бравурный пѣхотный маршъ...

Что толку, если чашу весенней радости осушишь единымъ залпомъ? У насъ пьешь ее — глоточками, хлебочками... Глотнешь и полюбуешься, какъ искрится радость весенняго вина. Душа мѣсяца три въ весеннемъ опьяненіи пребываетъ! Душа, какъ цвѣтокъ, постепенно раскрывается, чтобы потомъ вмѣстѣ съ яблонями, вишнями и черешнями зацвѣсти бѣло-розовой радостью преображенія! У насъ зима и весна — какъ два одинаково сильныхъ богатыря, долго борятся и одолѣть другъ друга не могутъ. То морозъ, то оттепель. То пасмурно, снѣговая крупа колючая съ нахмурившихся небесъ валится, то небесная синева и лазурь съ изумрудными облачками, а солнышко такъ пригрѣваетъ, что смѣяться хочется. А потомъ — побѣда: морозы — къ черту. Имъ на смѣну — Снѣготалъ и Водолей. Звенятъ и гремятъ ручьи и потоки; лужи, днемъ голубыя, къ вечеру румяными дѣлаются; сосульки плачутъ и звенятъ, какъ разбитое стекло, отваливаясь отъ крышъ и карнизовъ. Голуби воркуютъ, коты на крышахъ серенады поютъ и въ голубѣющихъ небесахъ разная прилетная птица съ юга тянется вереницами. Видно, и птица знаетъ, что нигдѣ нѣтъ такой красоты и приволья, какъ на нашей родинѣ!...

У другихъ жителей забота: изъ зимнихъ шкуръ перелѣзать въ весеннія. У студента — безъ хлопотъ: бросилъ ноги завертывать въ газету, распахнулъ пальто, перекинулъ пледъ на одно плечо — и готово! Потомъ вмѣсто жилетки — косоворотку. Пальто незастегнуто и душа на распашку. А въ душѣ-то столько весенней радости и опьяненія грѣховнаго, что, кажется, весь міръ заключилъ-бы въ объятія! Только одно соображеніе препятствуетъ этой непосредственности: неудобно оно, соціалисту, безъ разбора съ людями обниматься, ибо міръ кишитъ эксплоататорами. Впрочемъ, это сомнѣніе относится только къ мужской половинѣ человѣчества. Что касается женщинъ, молодыхъ конечно, такъ тутъ всѣ убѣжденія, какъ ледяныя сосульки подъ весеннимъ солнцемъ, таютъ...

Да, удивительная это порода, женщины эти самыя! Всѣ весной въ красавицъ превращаются. Прямо глаза разбѣгаются въ стороны. Идешь весной по улицамъ и поминутно вздрагиваешь. Точно кошельки оброненные замѣчаешь. То гимназисточка заневѣстившаяся, съ книжками въ ремешкахъ, въ гимназію спѣшитъ, поражая красотой своею удивленный взоръ твой, то незнакомка въ весеннемъ костюмѣ, прячущая свою красоту подъ голубенькой вуалеткой, промелькнетъ навстрѣчу. И радостно, и грустно! Радость отъ встрѣчи внезапной и грусть отъ мысли, что, можетъ быть, никогда уже больше съ ней не встрѣтишься. Не догнать-ли? А тутъ раму въ окнѣ выставили и молоденькая горничная окна тряпкой протираетъ и, поглядывая мимолетно на проходящихъ, пѣсенку веселую мурлычетъ. Хотя и чумичкой одѣта, а красота такъ и вылѣзаетъ. Ее никуда не спрячешь. И хорошенькая, и стройненькая, и кокетливая...

— Не сдается-ли у васъ комната?

— Студентовъ у насъ не пускаютъ...

— Жаль.

Смотришь и не вѣрится, что это — горничная. По-

дозрѣваешь перерядившуюся принцессу изъ Андерсеновской сказки.

Тоже вотъ татарки есть у насъ въ Казани. Правда, онѣ появляются на улицахъ обыкновенно съ занавѣсочками на лицахъ, со щелками для глазъ, чтобы нашего брата во искушеніе не вводить, да развѣ можно перехитрить Сатану? Превратится въ ласковый весенній вѣтерокъ да и отвернетъ съ лица занавѣсочку-то, а за занавѣсочкой-то... Однажды подъ занавѣсочкой такое личико увидалъ, что... Ну, прямо — персидская княжна, та самая, которую Стенька Разинъ въ Волгу бросилъ. И тутъ-же подумалъ: „да попадись мнѣ такая басурманочка, развѣ я бросилъ-бы ее въ Волгу? Никогда!"

Много красавицъ у насъ въ Казани. Да оно и понятно: въ Казани Европа съ Азіей возсоединяются, востокъ съ западомъ...

Но гдѣ скоплялось множество красавицъ, такъ это на Волгѣ во время ледохода. Такое скопленіе происходило обыкновенно либо на Страстной, либо на Пасхѣ. Ледоходъ на Волгѣ былъ огромнымъ событіемъ въ жизни всѣхъ жителей Казани. Не было въ городѣ здороваго человѣка, который во дни ледохода не побывалъ-бы на Волгѣ.

Особая весенняя тяга!

Конечно, тутъ молодежь на первомъ планѣ. Помимо захватывающей своимъ величіемъ красоты ледохода, для молодежи ледоходъ на Волгѣ былъ какъ-бы символическимъ праздникомъ всяческой свободы: Волга разбивала свою ледяную Бастилію. Студенты огромными стаями, словно птицы перелетныя, тянулись во дни ледохода къ Волгѣ.

Вотъ во время ледохода и началась эта любовная исторія, о которой хочу разсказать вамъ...

Казань — въ семи верстахъ отъ Волги. Трамваевъ тогда еще и въ поминѣ не было. Ихъ замѣняла конная тяга — „конка". Это — двухъэтажный вагонъ, который

тянетъ пара заморенныхъ клячъ, съ подмогой въ случаяхъ необходимости еще третьей клячи, съ верховымъ подросткомъ на горбѣ. Припряжается, поможетъ и, оторвавшись, ускачетъ прочь. „Конка“ отлично зарабатывала во дни ледохода на Волгѣ и по тому ждала его съ такимъ-же нетерпѣніемъ, какъ и мы, студенты, ничего отъ ледохода незарабатывавшіе, а спускавшіе въ эти дни послѣднія деньженки.

Когда стекла конки бывали облѣплены клочками порванной бумаги, — это означало, что на Волгѣ — ледоходъ. Конечно, конка, въ своихъ интересахъ, всегда устраивала ледоходъ преждевременно. Достаточно было немного передвинуться льдамъ, чтобы всѣ вагоны городской конки покрылись клочками бумажекъ, а по заборамъ — объявленія краткаго характера:

Волга тронулась!

И вагоны конки начинали браться съ бою... Во всѣхъ устахъ звучало радостно:

— Волга идетъ! Волга идетъ!

Въ описываемую весну Волга тронулась на Страстной недѣлѣ, а полный ледоходъ начался на второй день Свѣтлаго праздника, когда всѣ жители были уже и безъ того въ возбужденно-хмѣльномъ состояніи и на улицахъ звучали поцѣлуи и восклицанія:

— Христосъ Воскресе!

— Во истину воскресе!

Ликовали земля и небо, ликовала вся природа, ликовали люди, пьяные — кто отъ весенней радости, а кто вдвойнѣ: и отъ радости, и отъ вина. И всю эту радость какъ бы подчеркивалъ веселый перезвонъ пасхальныхъ колоколовъ... Уже съ утра попадались на улицахъ пьяненькіе, которые, ковыляя нетвердыми ногами, напѣвали божественное:

И другъ друга обымемъ,
И ненавидящія насъ
Простимъ все Воскресеніемъ!

Я направлялся къ памятнику поэта Державина: на сборный пунктъ молодежи, чтобы веселой компаніей отправиться на Волгу — смотрѣть ледоходъ.

Хотя вина и не пилъ, но ноги мои подплясывали подъ колокольный трезвонъ и душа задыхалась отъ избытка радости. Огромное бронзовое изваяніе поэта Державина торжественно возсѣдало на мраморномъ пьедесталѣ и равнодушно взирало на крышу почтовой конторы. Невольно вспоминалось произведеніе одного изъ непризнанныхъ міромъ мѣстныхъ поэтовъ:

Въ Казани, весь вылитъ изъ бронзы,
Державинъ на камнѣ сидитъ,
На крышу Почтовой конторы
Задумчиво старецъ глядитъ!

Между тѣмъ подъ ногами поэта происходитъ базаръ житейской суеты: гудѣла и шевелилась огромная толпа, пестрая, шумливая, празднично-настроенная. Здѣсь была станція конки и происходили бои за мѣста, нерѣдко кончавшіеся острыми столкновеніями, съ участіемъ полиціи. Дождавшись очередной конки, мы дружно вступили въ бой, разворотили публику и захватили въ свое распоряженіе весь балконъ вагона. Были среди насъ люди хозяйственные, женатые японскимъ бракомъ на швейкахъ и модисткахъ. Они имѣли съ собой кулечки и корзины съ провіантомъ и выпивкой. Мы называли ихъ интендантами. Хорошо около нихъ пахло: колбаской, ветчинкой, куличемъ, пасхой... Между тѣмъ большинство представляло изъ себя безпечныхъ птицъ небесныхъ, которыя по зернышку клюютъ и всетаки сыты бываютъ. Весенній воздухъ и вкусные запахи изъ корзинъ и кулечковъ возбуждали волчій аппетитъ, и какъ только мы очутились за городомъ, холостые стали интересоваться:

— Ну-ка, братецъ, что у тебя тамъ, въ кулечкѣ? Христосъ Воскресе!

Достаточно было одного праведника, развязавшаго кулечекъ съ провизіей, что бы и всѣ прочіе кульки и корзиночки начали раскрываться.

Закусили, выпили, лобызаясь между собою троекратными поцѣлуями. Захотѣлось пѣть.

Мой сожитель, Федя Троянскій, славился какъ запѣвало. Баритонъ драматическаго тембра, хватающій за душу безъ различія пола.

— Федя! Запѣвай!

Выйдь на Волгу, — чей стонъ раздается
Надъ великою русской рѣкой...

Когда проѣзжали слободой, Федя запѣлъ „запрещенную“ и, полиція, остановивши вагонъ, потребовала прекратить пѣніе. Къ остановленному вагону сбѣжалась толпа подвыпившей публики. Всѣ — за студентовъ, всѣ противъ полиціи!

— Какая бѣда, если споютъ пѣсню? Дѣло праздничное..

А молодая душа буянить хочетъ.

— Федя! Запѣвай „Дубинушку!“

Наша позиція неприступна: высоко, винтовая лѣсенка охраняется парнями внушительнаго тѣлосложенія да еще съ суковатыми дубинками.

Публика нижняго этажа тоже ссорится: одни за насъ, другіе — за полицію, недозволяющую пѣть возмутительныхъ пѣсенъ. Нѣсколько вагоновъ конки, вынужденные тоже остановиться, увеличили значительность происшествія. Публика подняла ропотъ и полиція махнула рукой. Мы побѣдили и съ пѣснями встрѣтили сверкавшую на солнышкѣ Волгу...

Героемъ себя чувствовалъ Федя Троянскій, подъ водительствомъ котораго была одержана побѣда надъ полиціей. Да и вся прочая компанія пребывала въ воинственно-побѣдномъ настроеніи. Но тутъ случилось нѣчто

непредвидѣнное, направившее мои и Федины мысли и чувства совсѣмъ въ другую сторону...

Когда мы выгружались изъ вагона, Федя узрѣлъ въ толпѣ одно лицо поразительной красоты. Само собою разумѣется, что оно принадлежало не мужчинѣ. Федя подтолкнулъ меня локоткомъ и сказалъ таинственно:

— Посмотри! Мадонна Гирляндайо!

— Гдѣ?

— Смотри влѣво! Поразительное сходство!

— А, вѣдь, вѣрно: похожа...

Тутъ необходимо маленькое поясненіе.

Ни Федя, ни я — никогда не видали подлинной картины Гирляндайо, изображающей мадонну безъ младенца, но у Феди была вывезенная кѣмъ-то изъ Флоренціи цвѣтная копія этой мадонны. Дѣвушка съ стыдливо опущенными глазами, съ золотымъ нимбомъ надъ склоненной головкой, съ накинутымъ на нее прозрачнымъ и легкимъ покровомъ, чрезъ которое просвѣчиваетъ розовое ушко; одѣта въ темно-малиновое съ синимъ, на груди — пряжка. Образъ непорочности, стыдливости и безграничной женственности! Все это было прекрасно передано Фединой копіей. Федя былъ влюбленъ въ эту копію какой-то особенно мистической влюбленностью, и святой и грѣшной одновременно. То боготвореніе, заставившее его повѣсить эту копію мадонны въ передній уголъ комнаты вмѣсто образа, то восхищеніе съ примѣсью земной грѣховности:

— Я женюсь только въ томъ случаѣ, если когда-нибудь обрѣту воплощеніе этой красоты!

— А надѣешься найти?

— Сомнѣваюсь, чтобы когда-нибудь на свѣтѣ жила такая небесная красота... Федя печально вздыхалъ, а я утѣшалъ:

— Вѣроятно, художникъ писалъ эту картину съ

ит. библиоте БЕОГ

какой-нибудь живой дѣвушки. Значитъ, и на землѣ возможна такая красота...

Федя отвергалъ принципіально вѣру въ Бога и небеса, въ церковь не ходилъ, вообще заявлялъ себя атеистомъ, какъ всѣ передовые студенты того времени, но однажды ночью, когда я давно уже былъ въ постели, а Федя бодрствовалъ, готовясь къ экзамену по анатоміи человѣка, я, къ своему величайшему изумленію, высунувъ голову изъ подъ простыни, собственными глазами узрѣлъ совершенно непонятное: Федя, походивъ по комнатѣ съ папиросой въ зубахъ и съ черепомъ въ рукѣ, остановился, устремилъ взоры на свою копію мадонны и, вздохнувши, перекрестился на нее трижды... Это было тѣмъ болѣе невѣроятно, что Федя имѣлъ среди насъ репутацію революціонера...

Надо признаться откровенно, что, подъ вліяніемъ Феди, и самъ я началъ чувствовать тяготѣніе къ его мадоннѣ... Однако мое тяготѣніе было самаго земного свойства. Я не боготворилъ, а любовался, при чемъ всегда чувствовалъ досаду: лучше, если-бы она показала свои глаза, которые безъ сомнѣнія — прекрасны...

И вотъ, представьте себѣ, — мы съ Федей видимъ живую мадонну Гирляндайо!

Случаются-же на свѣтѣ такія чудеса! Можно съ ума сойти отъ удивленія и восторга. Нимба, конечно, надъ головкой этой, живой, не было, но вмѣсто него была модная тогда шляпа изъ золотистой соломки, тарелочкой, очень похожая на вѣнецъ святости. Въ остальномъ полное сходство: костюмъ тѣхъ-же цвѣтовъ: внизу темно-малиновое, поверху синее. И пряжка на груди! И ушко розовое изъ-подъ паутиновой вуали намѣчается... Поразительно!

Федя вытаращилъ глаза и замеръ. Точно улетѣлъ въ небеса. Потомъ опомнился и сталъ проявлять острое безпокойство: чудное видѣніе исчезло. Точно все это только приснилось.

— Гдѣ она?

Исчезла. Одна пестрая толпа огромной змѣей ползаетъ лѣниво вдоль Волжскаго берега. Толпа, какъ море въ волненіи, переливается, сталкивается, то громоздится, то растекается кружевами...

По берегу цѣлый поселокъ изъ лавокъ, магазиновъ, ресторановъ, трактировъ, но большинство ихъ наглухо заколочено и необитаемо: весенній разливъ затопляетъ надолго всю низину земли вплоть до Казани, поэтому жизнь начинается здѣсь только послѣ спада водъ, а во время ледохода только нѣкоторые, наиболѣе предпріимчивые торговцы, открываютъ временно свои заведенія.

У насъ былъ здѣсь свой любимый трактиръ „Аркадія“, гдѣ молодежь демократическихъ настроеній и бросала якорь во дни ледохода. Хозяинъ „Аркадіи“, плутоватый купчикъ изъ Ярославскихъ мужичковъ, былъ нашимъ общимъ пріятелемъ и потому здѣсь царствовала юность: студенты университета, ветеринарнаго института, духовной академіи, семинаристы, курсистки, перерядившіеся гимназисты...

Что тутъ творилось во дни ледохода, — трудно передать! И рѣчи, и пѣсни, и столкновенія на политической и любовной почвѣ, встрѣчи друзей и враговъ, сцены ревности, конспиративныя свиданія, засѣданія тайныхъ кружковъ... И надъ всѣмъ этимъ шумомъ и гамомъ — заводный органъ, ревущій:

Ахъ, не одна-то во полѣ дороженька...

Захвативъ столы въ трактирѣ и сдавши ручной багажъ за прилавокъ самому хозяину, мы заказали пельмени и направились гурьбой смотрѣть, какъ Волга разбиваетъ свои оковы.

Съ шумомъ и рокотомъ трескалась Волга-матушка и вдоль и поперекъ, словно гремѣли гдѣ-то въ отда-

леніи выстрѣлы изъ пушекъ. Вздымались и лѣзли, какъ диковинные звѣри, другъ на друга ледяныя глыбы, сверкая на солнышкѣ прозрачной голубизной изломовъ, съ стеклянным звономъ низвергались въ водяныя бездны или рушились, какъ стеклянные замки. Раскрывались сверкающіе колодцы освобожденной рѣки и снова пропадали. Лѣзли на берегъ ледяные звѣри, переламывались и грохались. Плыли дороги съ вѣхами, унесенныя водой лодки, заборы съ развѣшаннымъ бѣльемъ...

Все это страшно волновало или веселило праздничную публику...

Федя бродилъ съ нами, съ страннымъ самоуглубленнымъ видомъ, и казался опечаленнымъ. То и дѣло онъ отставалъ, озирался и вообще велъ себя странно, не сливаясь съ общей радостью и возбужденіемъ...

Въ одномъ мѣстѣ такъ сгрудилась публика, что не пройти, ни проѣхать. Что тутъ случилось? Крики, смѣхъ, визги женщинъ...

Конечно, протолкались посмотрѣть.

— Вотъ она! — нервно дернувъ меня за рукавъ, шепнулъ мнѣ Федя.

— Кто?

— Гирляндайо!

Она, окруженная свитой военной молодежи, была въ отчаяніи. Готова разрыдаться. На лицѣ ужасъ и страданіе. Впрочемъ, не одна она въ отчаяніи: всѣ женщины отражали на лицахъ своихъ нѣчто подобное-же, лишь въ значительно меньшей степени. Въ чемъ дѣло? Что случилось? Кого тутъ спасаютъ?

Я протискался впередъ и понялъ: почти подъ берегомъ, въ разстояніи не болѣе двухъ-трехъ саженъ отъ него, на большой медленно двигающейся льдинѣ — собачья конура и около нея, привязанная на веревкѣ, собаченка. Конечно, она обречена на гибель.

Ахи, охи и вздохи, но вокругъ полное безсиліе. А между тѣмъ льдина однимъ своимъ отросткомъ такъ

близка къ берегу, что можно прыгнуть на льдину безъ особеннаго риска. Я только успѣлъ объ этомъ подумать, какъ Федя, растолкавъ ротозѣевъ, свершилъ сей подвигъ, сопровождаемый вскриками женщинъ. Льдина качнулась, слегка прикрылась водой и стала отползать отъ берега. На берегу смятеніе. Теперь всѣ, восхищенные подвигомъ Феди, въ новомъ ужасѣ: изъ-за собаки можетъ погибнуть этотъ храбрецъ и герой. Такъ теперь думали о Федѣ рѣшительно всѣ женщины и, конечно, въ ихъ числѣ, прекрасная незнакомка, живая копія мадонны Гирляндайо. А вотъ мужчины только озлобились на Федю. Я услыхалъ, какъ одинъ изъ свиты Гирляндайо произнесъ:

— Это не храбрость, а глупость!

А потомъ еще мужской голосъ:

— Теперь этого дурака спасай!..

На берегу — крикъ, визгъ. Оттуда летитъ сотня совѣтовъ. А Федя, съ собаченкой на веревочкѣ, стоитъ на краю льдины и смущенная улыбка растерянности застыла на его лицѣ. Перепрыгнуть уже невозможно. Увы, и среди насъ не оказалось героя...

Федю спасла собственная находчивость. Онъ спихнулъ съ мѣста собачью конуру, приволокъ ее на край льдины, столкнулъ въ воду и показалъ примѣръ несчастной собаченкѣ: первый скачокъ на конуру, второй на сосѣднюю льдину и третій на берегъ!

Общій восторгъ, рукоплесканія и дружный хохотъ, когда собаченка такимъ-же путемъ очутилась на берегу, около своего спасителя...

А вотъ и награда, о какой и не мечталъ нашъ герой: прекрасная незнакомка, живая копія Гирляндайо, снявъ съ своего манто красную розу, подала ее, съ очаровательной улыбкой, сіяющему Федѣ и погладила спасенную имъ собаченку.

Федя всетаки подмокъ, очутившись на собачьей конурѣ, хлебнулъ сапогами ледяной водицы и потому

былъ лишенъ возможности воспользоваться моментомъ и познакомиться, отрекомендоваться прекрасной незнакомкѣ, а чрезъ мгновеніе она уже исчезала въ густой толпѣ. Бѣжать за ней въ подмоченномъ состояніи было-бы смѣшно, не соотвѣтствовало-бы достоинству героя, а потому Федя покорно послѣдовалъ нашему совѣту: отправиться въ „Аркадію“ и прежде всего согрѣться коньякомъ и обсушиться около раскаленной печки...

Съ розой въ петлицѣ пальто и съ собачкой на веревочкѣ шествовалъ Федя, окруженный нашимъ дружескимъ вниманіемъ, въ „Аркадію“ и страшно смутился, когда я, понюхавши розу, спросилъ:

— Ну, а собачку-то ты куда дѣнешь?

— Ужъ не знаю, какъ съ ней быть... А бросить жалко!

— Возьмемъ ее, братъ, на пропитаніе... На память о розѣ...

Въ „Аркадіи“ уже шла невообразимая суетня и сутолока: пиръ горой и дымъ коромысломъ. Пьяно и шумно. Публики набилось, — не продерешься. Смѣхъ, вскрики, хоровая пѣсня, звонъ посуды, хлопанье пробокъ, табачный туманъ. Хору аккомпанируетъ органъ и отъ этого кажется, что здѣсь — безшабашный разгулъ. Между тѣмъ, какъ тутъ больше хмѣля младости, чѣмъ подлиннаго пьянства...

Надо сказать, что такъ называемая чистая публика, вѣрнѣе — зажиточная публика, собиралась въ своемъ ресторанѣ „Тюльери“, но иногда, влекомая любопытствомъ и царившимъ въ нашей „Аркадіи“ молодымъ весельемъ, заглядывала и къ намъ. Наиболѣе храбрые оставались посмотрѣть, послушать и понаблюдать, занимали своей компаніей столъ и не смѣшивались, держались отдѣльно. Мы называли такихъ „аристократами“ и дарили ихъ своимъ презрѣніемъ.

Были такіе и на этотъ разъ, и одна изъ такихъ компаній помѣстилась въ сосѣдствѣ съ нашими столами...

Такъ какъ Федя промокъ до колѣнъ, но наотрѣзъ отказался обсушиться около печки и отклонилъ любезное предложеніе хозяина „Аркадіи“ воспользоваться его запасными брюками, — мы приняли мѣры предупредить опасность для Фединаго здравія и заставили его выпить стаканъ горячей смѣси изъ чая и коньяка въ равныхъ пропорціяхъ. Впрочемъ тутъ Федя не упрямился и охотно пошелъ навстрѣчу нашему санитарному методу. Исторія со спасеніемъ утопавшей собаки успѣла уже сдѣлаться общимъ достояніемъ публики и, когда Федя показался съ кобелькомъ на веревочкѣ, у всѣхъ явился вопросъ: не этотъ-ли студентъ спасъ собаку, едва не поплатившись за это своей жизнью? Пламенѣвшая въ петличкѣ пальто роза давала утвердительный отвѣтъ... Къ нашему столу подходили дѣвицы и, склоняясь, тихо спрашивали кого-нибудь изъ нашей компаніи:

— Онъ спасъ собаку?

Конечно, мы съ гордостью подтверждали эту догадку.

Такъ Федя сдѣлался не только героемъ въ нашей компаніи, а героемъ всей „Аркадіи“, а главнымъ образомъ, конечно, молодыхъ женщинъ и дѣвушекъ. Спасенный кобелекъ сдѣлался тоже героемъ, хотя выглядѣлъ довольно печально. То и дѣло женскія ручки гладили его, дрожащаго, по мокрой шаршавой спинѣ, въ то время, какъ горящія огонькомъ глазки скашивались на красиво взлохмаченнаго Федю.

— Скажите, какъ его зовутъ? — обращались къ Федѣ.

— Ей Богу, не имѣю понятія! Мы съ нимъ только теперь познакомились...

Одна изъ солидныхъ дамъ сосѣдняго съ нами столика, занятаго пришлыми „аристократами“, посмотрѣла на собаку въ лорнетъ и довольно громко произнесла:

— И стоило спасать такую дрянь! Рисковать жизнью! А что, если-бы вы, молодой человѣкъ, потонули?

Эту реплику подхватилъ другой столикъ, гдѣ кутила компанія опереточныхъ актеровъ. Одинъ изъ нихъ отвѣтилъ басомъ съ вибраціей:

— Рискъ — благородное дѣло! Если-бы молодой человѣкъ, свершая жертвенный подвигъ, утонулъ, а вы, мадамъ, стали-бы его оплакивать, я вамъ въ утѣшеніе продекламировалъ бы:

Не рыдай такъ безумно надъ нимъ:
Хорошо умереть молодымъ!

Такъ завязался принципіальный споръ, расплываясь, какъ круги на водѣ отъ брошеннаго камня, по всей „Аркадіи"... Разбередили модную тогда тему о „толпѣ и герояхъ". Кто-то, надсаживаясь, старался пространной рѣчью убѣдить скептиковъ, что неважно, кто спасенъ въ данномъ случаѣ: собака или человѣкъ, а важенъ фактъ самоотверженности. Публика поддержала оратора оглушительными аплодисментами Потомъ ораторъ подошелъ съ бокаломъ вина къ нашему столу, чтобы чокнуться съ Федей. За нимъ продѣлали тоже множество дѣвицъ и дамъ. Федя замѣтно пьянѣлъ отъ вина и щекочащихъ самолюбіе чествованій. На его лицѣ игралъ румянецъ и на губахъ вздрагивала улыбка удовольствія. Нашъ столъ, украшенный чествуемымъ героемъ, конечно, долженъ былъ принять самое активное участіе въ осушеніи бокаловъ въ честь и здравіе Феди, а потому градусъ хмѣля здѣсь быстро поднимался...

Федя былъ въ умиленно-восторженномъ состояніи. Неловкость, которую онъ чувствовалъ отъ всеобщаго вниманія, уже прошла, на смѣну явилось нѣкое побѣдное самочувствіе своей исключительности. И вотъ онъ всталъ и запѣлъ:

Наша жизнь коротка, все уноситъ съ собой
Наша юность, друзья, пронесется стрѣлой...

И вся „Аркадія“ превратилась въ одинъ сплошной хоръ... Увлеченные пѣніемъ, мы не сразу замѣтили, какъ за сосѣднимъ столикомъ опереточныхъ актеровъ появились новыя лица. Первымъ это замѣтилъ Федя, неожиданно оборвавшій запѣвъ и смущенно опустившійся на мѣсто...

— Она! — шепнулъ онъ, склонившись къ моему плечу.

И тутъ только я понялъ, въ чемъ дѣло: за сосѣднимъ актерскимъ столикомъ появилась живая копія мадонны, наградившая нашего героя ярко-красной розою за спасеніе собаки... Тутъ-же оказалась и свита незнакомки изъ трехъ военныхъ.

И съ этого момента Федя сразу потерялъ побѣдное настроеніе и сдѣлался пугливъ и застѣнчивъ. Публика требовала, чтобы Федя продолжалъ запѣваніе, но онъ отказывался. Стали упрашивать. Выпилъ коньяку, всталъ, тряхнулъ волнистой шевелюрой и запѣлъ:

Эхъ, тоска, братцы-товарищи
Въ грудь запала глубоко,
Дни веселія и радости
Отлетѣли далеко...

Пѣлъ великолѣпно. Никогда еще его баритонъ не былъ такъ драматиченъ и бархатенъ, какъ сейчасъ. Кончили и снова громъ аплодисментовъ по адресу Феди. А потомъ... А потомъ такая награда, о которой Федя и мечтать не могъ!

Отъ актерскаго стола подошла съ бокаломъ на подносикѣ мадемуазель Гирляндайо, спросила меня, какъ зовутъ героя, и запѣла:

Какъ цвѣтокъ душистый
Ароматъ разноситъ...

Съ поклономъ поднесла бокалъ Федѣ и запѣла дальше:

Выпьемъ мы за Федю, Федю дорогого,
А пока не выпьетъ, не нальемъ другого...

А послѣ этого вся компанія сосѣдняго столика очутилась за нашими столами и получилось полное сліяніе двухъ мірковъ. Прекрасная незнакомка очутилась, въ концѣ концовъ, между мной и Федей, а ея свита размѣшалась въ нашей компаніи. Актерская богема и студенты — въ своемъ соединеніи дали взрывъ безшабашнаго веселья, остроумія и возбужденной жизнерадостности.

Развѣ можно въ такомъ состояніи оставаться равнодушнымъ къ красивой женщинѣ, сидящей рядомъ съ тобой и воркующей не съ тобой? Мнѣ начинаетъ казаться, что я тоже влюбленъ въ нее и не менѣе достоинъ ея вниманія и улыбокъ, чѣмъ счастливый теперь Федя. Почему Федя? Только потому, что спасъ — эту собаку? При чемъ тутъ собака? Можно спасти десять собакъ и всетаки остаться съ носомъ. Любовь, господа, свободна! А счастье...

Сегодня — ты, а завтра я...

Начинаю вмѣшиваться въ разговоръ, отвлекать прекрасную сосѣдку отъ Феди и обращать ея вниманіе на себя. Федя съ женщинами робокъ и пассивенъ, а я — смѣлъ и напористъ. Федя ненаходчивъ въ словахъ и темахъ, а я за словомъ въ карманъ не лѣзу и давно научился занимать дамъ разговорами и имѣю въ запасѣ множество интересныхъ темъ и вопросовъ. Федя больше спеціалистъ по политической экономіи и соціологіи, а я — на всѣ руки: изо всякаго попутнаго пустяка умѣю дѣлать остроумныя обобщенія о любви, о счастіи, о женщинахъ и мужчинахъ. Хмѣль весны и вина утраи-

ваетъ эти мои способности и мадемуазель Гирляндайо уже сидитъ спиной къ Федѣ...

Конечно, мы говоримъ о любви, о роковыхъ встрѣчахъ и случайностяхъ. Оба пьянѣемъ отъ встрѣчи взорами и случайныхъ соприкосновеній. Увы, скоро моя прекрасная сосѣдка уже забыла, что Федя геройски спасъ собаку, которая кладетъ теперь грязную морду на ея колѣни:

— Уберите отъ меня это грязное чудовище!

— Возьми-ка, Федя, твоего кобелька на веревочку! Онъ не даетъ намъ покоя...

— Вотъ какъ!

Федя оскорбленъ:

— Почему онъ — мой? Я дарю его, мадемуазель Гирляндайо, вамъ!

Моя сосѣдка дѣлаетъ большіе глаза:

— Что такое? Какъ онъ назвалъ меня?

Очевидно, живая копія Гирляндайо никогда о немъ ничего не знала и не слышала. Не знаетъ, обидѣться или это... необидно?

— Опять лѣзетъ! Невыносимое животное!

Федя оттягиваетъ къ себѣ кобелька, припадаетъ къ нему съ ласками и утѣшаетъ:

— Ты, собака, наилучшій другъ человѣка! Ты умѣешь быть благодарной и вѣрной. Плюнь на людей! Иди ко мнѣ на руки!

Федя пьянъ и обиженъ. Собака едва умѣстилась на его колѣняхъ. Она тычетъ мордой въ лицо Феди и пытается тоже сдѣлать съ сосѣдкой. Та въ ужасѣ и возмущеніи пересаживается отъ Феди, оставляя насъ рядомъ. Я тихо совѣтую Федѣ бросить грязнаго пса и выпить сельтерской воды.

— Поди ты къ черту! — огрызается Федя и требуетъ коньяку...

Федя повернулся ко мнѣ спиной и я чувствую, какъ

отъ этой спины излучается злоба и ревность. Я насмѣшливо напѣваю изъ „Евгенія Онѣгина“:

Давно-ли были мы друзьями...

Къ намъ подсаживается молоденькій подпоручикъ изъ свиты мадемуазель Гирляндайо и старается помѣшать нашей интимности. Грубыми репликами онъ начинаетъ мѣшать нашимъ разговорамъ и афишировать свое право на вниманіе моей сосѣдки. Онъ явно ревнуетъ. Возможно, что онъ имѣетъ права и на исключительное вниманіе моей дамы, но это — неделикатно по отношенію къ дамѣ и невѣжливо по отношенію ко мнѣ. Вотъ такъ-же онъ лѣзъ къ Федѣ, когда мадемуазель Гирляндайо дарила того своими улыбками и взглядами...

— Ѣдемъ въ городъ! Насъ ждетъ извощикъ! — довольно повелительно повторялъ онъ моей сосѣдкѣ.

— Я не хочу. Можете ѣхать, я васъ не задерживаю! — раздраженно бросила мадемуазель Гирляндайо офицеру, а я добавилъ:

— Прошу не безпокоиться: мы проводимъ...

Поручикъ впалъ въ пьяную мрачность и началъ изощряться въ остроуміи по моему адресу:

— Ну, тотъ хотя кобеля спасъ, а этотъ что? Онъ самъ кобель... Вотъ!

Подпоручикъ надѣлъ на голову собакѣ мою шляпу и сказалъ:

— Вотъ и студентъ!

Я, пребывавшій уже въ сильномъ хмѣлю, сорвалъ съ его головы фуражку, напялилъ ее на голову кобелька и отвѣтилъ:

— А вотъ — подпоручикъ!

И вышелъ скандалъ на всю „Аркадію“. Подпоручикъ вздумалъ оскорбить меня дѣйствіемъ, но я сумѣлъ во время оградить себя стуломъ отъ этого оскорбленія. Тотъ выхватилъ револьверъ, но его удержали и обезоружили окружающіе. Крикъ, шумъ, женскіе визги,

собачій лай. Моя сосѣдка въ истерикѣ. Около нея снова Федя. Потомъ они исчезли куда-то изъ моего кругозора и осталась только разъяренная физіономія подпоручика, съ его товарищами, офицерами, и я со своими студентами - спутниками. Рѣзкія объясненія, окончившіяся на разсвѣтѣ вызовомъ меня на дуэль.

— Къ вашимъ услугамъ, подпоручикъ!

Обмѣнялись адресами и продолжали пить уже въ приличномъ отдаленіи другъ отъ друга.

Когда все стихло, я не нашелъ уже въ „Аркадіи“ ни Феди, ни нашей мадонны. Только спасенная Федей собака, свернувшись клубочкомъ, грѣлась у печки...

На другой день къ вечеру я проснулся и не сразу понялъ, гдѣ я нахожусь и что на свѣтѣ: утро или ночь? Страшно перепугался, почувствовавъ около себя, въ ногахъ, нѣчто живое и теплое. По изслѣдованію оказалось, что это — не человѣкъ, а собака. Феди нѣтъ, не вернулся. Перегналъ собаку на Федину постель. Собака!

И сразу вспомнилъ „Аркадію“, Федю, мадемуазель Гирляндайо, подпоручика и что-то въ высшей степени непріятное. Болѣла голова, саднило на душѣ и горѣли внутренности отъ страшной жажды. Состояніе угнетенное, шопенгауеровское. Выпилъ кувшинъ воды, умылся, одѣлся и въ мозгахъ начало помаленьку проясняться. Точно туманъ таялъ и раскрывался горизонтъ прошлаго и будущаго. Непріятно, стыдно и тревожно... Натворилъ такое, что не распутаешься! Глупая ссора и согласіе на глупую дуэль... Изъ-за чего? — не могу припомнить. Не то изъ-за этой паршивой собаки, не то... Всплылъ образъ мадемуазель Гирляндайо и смутно вспомнилось, что я объяснился ей въ любви! Чертъ знаетъ, въ какую глупую кашу попалъ я съ этимъ ледоходомъ! Никакой любви не чувствую, а между тѣмъ, кажется, сдѣлалъ предложеніе... Недурна, интересна, моментами

дѣйствительно напоминаетъ вотъ эту копію, но.. жениться, — ни малѣйшаго желанія! А тѣмъ болѣе — подставлять изъ-за нея свой лобъ подъ шальную пулю...

Я обругалъ себя „идіотомъ“ и началъ мысленно искать себѣ оправданій и выхода изъ лабиринта надѣланныхъ глупостей.

Пьяный романъ! А въ результатѣ либо помирай отъ пули неизвѣстно за что, либо, самъ убей человѣка неизвѣстно за что и женись на совершенно неизвѣстной особѣ, вопреки своему желанію! Можетъ-ли быть что-нибудь глупѣе?!

Манила слабая надежда: всѣ проспятся, поймутъ собственную глупость и дѣло приметъ комическій оборотъ. Но вотъ нервно затрещалъ въ передней звонокъ и послышалось знакомое покашливанье Феди. Припомнилось, что и съ Федей у насъ что-то вышло изъ-за мадемуазель Гирляндайо. Неужели и онъ, мой старый и вѣрный другъ, изъ-за этихъ пьяныхъ пустяковъ, порветъ наши отношенія? Почему онъ такъ долго возится въ передней? Съ кѣмъ онъ тамъ шепчется?.

Стукъ въ дверь — просьба о разрѣшеніи войти. Почему такія церемоніи? Никогда раньше не спрашивались, а тутъ...

— Можно! Входи!

Дверь пріотворилась и просунулась загадочно-серьезная, но побѣдно увѣренная физіономія Феди. Встрѣтились глазами и не улыбнулись другъ другу... Выраженіе Фединаго лица осталось загадочнымъ. Чтобы какъ-нибудь разрѣшить эту загадку, я рѣшилъ дѣйствовать такъ, словно ничего не помню и не придаю никакого значенія вчерашнему происшествію на Волгѣ:

— Ну, входи! Что ты дурака валяешь?

Федя подернулъ плечомъ и серьезно отвѣтилъ:

— Я не знаю, кто изъ насъ валяетъ дурака: я или ты. Я не одинъ, а съ дамой.

— Съ дамой? Вотъ какъ... Очень радъ... Я одѣтъ вполнѣ прилично.

На мгновеніе Федя исчезъ за дверью, сверкнулъ въ тишинѣ нѣжный женскій печальный голосокъ, а потомъ дверь растворилась... Представьте мое удивленіе, испугъ и растерянность, когда Федя пропустилъ впередъ мадемуазель Гирляндайо!

Предо мной — живая копія нашей мадонны! Рѣснички опущены, на лицѣ смущеніе и стыдливость. Скромность, невинность, чистота... Даже слезка застыла подъ глазомъ, какъ капелька росы на лепесточкѣ розы.

— Садитесь пожалуйста!

Она протянула мнѣ ручку. Я приложился и весь превратился въ невинный знакъ вопроса.

— Мнѣ необходимо поговорить съ тобою наединѣ, — строго произнесъ Федя и мы, оставивъ гостью въ одиночествѣ, вышли въ переднюю.

— Что такое? Въ чемъ дѣло?

Федя кашлянулъ и, глядя сурово въ сторону, спросилъ:

— Ты помнишь, что вчера ты объяснился въ любви и принялъ вызовъ подпоручика Красина?

— Какого Красина?

— Кажется, жениха, а можетъ быть, двоюроднаго брата... Это безразлично и тебя не касается... Помнишь?

Вопросъ былъ поставленъ самымъ серьезнымъ образомъ и потому комическій тонъ былъ неумѣстенъ. Я гордо и серьезно отвѣтилъ:

— Само собою разумѣется, — помню и готовъ... А тебя прошу быть моимъ секундантомъ... Трусомъ я никогда не былъ и хотя принципіально отвергаю дуэль, но въ данномъ случаѣ готовъ сдѣлать исключеніе...

— Мадемуазель Гирляндайо пришла тебя просить, чтобы ты отказался отъ дуэли. Она въ отчаяніи. Я зналъ твой взглядъ на дуэль и потому далъ ей надежду на твое согласіе...

— Очень жаль. Не мѣшало-бы сперва спросить меня самого!

— Я полагалъ, что у такихъ убѣжденныхъ людей, какъ мы, слово не можетъ расходиться съ дѣломъ... И тѣмъ болѣе, что ты ее любишь...

— Я не желаю новыхъ оскорбленій: мой отказъ этотъ господинъ объяснитъ трусостью, а я трусомъ никогда не былъ.

Федя передернулъ плечомъ и застылъ въ тяжеломъ раздумьи.

— Если-бы я вызвалъ его на дуэль, — другое дѣло, а такъ какъ вызовъ послѣдовалъ со стороны жениха или двоюроднаго брата, такъ пусть онъ самъ и покажетъ примѣръ своей жертвенности во имя невѣсты или тамъ... двоюродной сестры... — добавилъ я послѣ тяжелой паузы.

Не будь Федя такъ строго-оффиціаленъ, быть можетъ, все разрѣшилось-бы именно такъ, какъ я нѣсколько минутъ тому назадъ надѣялся, т. е. не драматическимъ, а — комическимъ эпилогомъ. Одна дружеская улыбка, одно теплое дружеское слово, — и вся эта пьяная исторія превратилась-бы въ смѣшной водевиль. Но ни слова такого, ни улыбки я на Фединомъ лицѣ не увидѣлъ и потому почувствовалъ необходимость въ актерской маскѣ. А разъ человѣкъ надѣлъ на себя эту маску, возврата больше нѣтъ. Гордость и самолюбіе побѣждаютъ нашу искренность, наши добрыя чувства, нашу разсудительность и часто самую боязнь смерти... Недавно, при одной мысли встать подъ пулю, гнѣвно бунтовали душа и тѣло, теперь всего ужаснѣе казалось — показать себя трусомъ...

Федя постоялъ въ молчаливомъ столбнякѣ нѣсколько минутъ, потомъ вздохнулъ и тихо сказалъ:

— Я извиняюсь, что самовольно обнадежилъ несчастную дѣвушку. Мнѣ тяжело сказать ей объ этомъ. Иди и объяснись самъ... Она ждетъ. Иди, я останусь

здѣсь! Однако не забывай, что говоришь съ женщиной весьма хрупкой конструкціи! — добавилъ онъ какъ-бы въ напутствіе...

Когда я вошелъ въ комнату, мадемуазель Гирляндайо сидѣла на Фединой кровати, около спасенной собаки, и напоминала прекрасную преступницу, ожидающую страшнаго приговора. Она робко, съ молчаливой мольбою, вскинула на меня взоръ свой и поняла, что надежда на мой отказъ отъ дуэли не оправдалась.

— Федоръ Павловичъ Троянскій передалъ мнѣ въ краткихъ словахъ ваше требованіе ко мнѣ...

— Просьбу! Мольбу!.. а не требованіе... — поправила меня дѣвушка.

Я повторилъ свои доводы, препятствующіе мнѣ отказаться отъ дуэли.

— Пусть это сдѣлаетъ... вашъ... я не знаю, женихъ или кузэнъ. Тогда другое дѣло, но... Я не желаю носить позоръ труса...

— Вамъ это сдѣлать легче, чѣмъ моему... кузэну! Вы знаете, что такое въ военной средѣ честь мундира?

— Полагаю, что честь человѣка много выше чести мундира!

— Васъ никто не посмѣетъ обвинить въ трусости! Вы доказали публично свою геройскую храбрость... и вотъ эта собака будетъ вѣчнымъ тому доказательствомъ! Вы спасли собаку и этимъ доказали не только храбрость, но и... свою гуманность... или... свою сострадательность ко всякому живому существу!

Слово „гуманность“ рѣзнуло мое ухо, а отнятая у Феди заслуга спасенія пса — удивила и возмутила:

— Вы ошибаетесь: эту, какъ вы изволили выразиться, гуманность проявилъ не я, а Федоръ Павловичъ Троянскій! А затѣмъ признаюсь откровенно: я никогда не сталъ-бы рисковать жизнью изъ-за собаки...

— Извините... Я такъ... въ такомъ состояніи, что уже все перепутала... Но вы принимали участіе... вы...

— Я помогалъ Федору Павловичу вылѣзти сухимъ изъ воды и больше ничего!

Мадемуазель Гирляндайо вынула изъ сумочки кружевной платочекъ и заплакала. Задыхаясь, начала прерывисто шептать:

— Вы мнѣ... вчера... сказали, что меня любите... Докажите это на дѣлѣ: откажитесь... отъ дуэли... Тогда повѣрю...

— Къ сожалѣнію, и очевидно, — моя любовь не столь возвышенна, чтобы доказывать ее спасеніемъ собакъ и прочими героическими подвигами...

— Какой вы жестокій... Вы меня вовсе не любите... Не любите... Не вѣрю, не вѣрю!

И снова плачъ въ кружевной платочекъ. Плачъ сперва кроткій и нѣжный, потомъ сильнѣе и сильнѣе. Истерика!..

Распахнулась дверь и, какъ сумасшедшій, влетѣлъ Федя. Онъ пострѣлилъ меня злобнымъ взоромъ и сталъ метаться и кому-то кричать:

— Дайте воды!

Слишкомъ много актерскаго уловилъ я въ мадемуазель Гирляндайо и потому отвѣчалъ ей тѣмъ-же. Меня бѣсило это актерское въ голосѣ, жестахъ, въ діалогахъ, въ истерикѣ. Я захватилъ съ вѣшалки пальто и шляпу и рѣшительно покинулъ комнату...

Ходилъ безцѣльно по улицамъ, забрелъ въ городской садъ, посидѣлъ тамъ въ ресторанѣ за бутылкой пива и обдумывалъ, какъ вывернуться изъ паутины лжи и глупости, въ которыхъ все больше и больше запутывался... Вспомнилось, что упустилъ одинъ чрезвычайно удобный моментъ для этого; мадемуазель Гирляндайо сказала: „докажите, что меня любите — откажитесь отъ дуэли, тогда я повѣрю!“ Слѣдовало доказать. Но сейчасъ-же вставала другая опасность: ну, доказалъ, а дальше? Жениться? Слуга покорный!

А проклятый оркестръ жаритъ сперва вальсъ изъ

„Евгенія Онѣгина“, а потомъ арію Ленскаго передъ дуэлью:

Куда, куда, куда вы удалились,
Златые дни моей весны...

Во всякомъ случаѣ — лучше жениться, чѣмъ пасть отъ пули подпоручика, двоюроднаго брата или двоюроднаго жениха, да, вѣроятно, и жениться не пришлось-бы, ибо по всѣмъ видимостямъ претендентъ на этотъ подвигъ уже имѣется... Иначе она не умоляла-бы отказаться отъ дуэли...

— Мда... опять дурака свалялъ! Отъ судьбы, видно, не уйдешь...

Вернулся очень поздно. Огня въ комнатѣ не было. Возжегъ спичку и обозрѣлъ комнату. Федя спалъ не раздѣвшись, обнявъ одной рукою рокового для насъ пса, съ котораго начались всѣ наши злоключенія. Зажегъ лампу, чтобы раздѣться и крѣпко заснуть, позабывши о будущемъ. И тутъ замѣтилъ еще одну деталь: на стулѣ висѣлъ пиджакъ Феди, а въ петличкѣ этого пиджака кроваво рдѣла роза... непоблекшая, а свѣжая совершенно роза. Очевидно, новый орденъ отъ мадемуазель Гирляндайо за какой-то новый геройскій подвигъ...

Какъ только я улегся и погасилъ свѣтъ, Федя началъ пошевеливаться. Я покашлялъ, онъ тихо спросилъ:

— Ты дома? Давно?

— Только что пришелъ.

— А я такъ крѣпко уснулъ, что не слыхалъ... Измучался за эти два дня...

Помолчалъ и, вздохнувши, голосомъ доброжелательства и успокоенности, прибавилъ:

— И смѣхъ, и грѣхъ!

Осторожно засмѣялся. Видимо, его тянуло поговорить по душамъ:

— Ты на меня не сердись!.. Мнѣ всѣхъ жалко,

всѣхъ васъ, а особенно несчастную Гликерію Николавну... нашу мадемуазель Гирляндайо — пояснилъ онъ... — Долженъ тебѣ сообщить, что никакой дуэли не будетъ...

— Это почему-же?

— Струсилъ тотъ, подпоручикъ... отказывается.

— Отказа я не получилъ...

— Вѣроятно, получишь завтра... Наилучшій исходъ для всѣхъ, только для бѣдной Гликеріи Николавны опять страшная душевная трагедія...

Въ комнатѣ было темно и можно было, не оскорбляя возвышенныхъ чувствъ Феди, беззвучно посмѣяться.

— Не такъ-то легко неожиданно увидать въ любимомъ человѣкѣ презрѣннаго труса! Она — человѣкъ благородныхъ порывовъ, увлекающійся человѣкъ, и потому человѣкъ всякихъ крайностей: ея любовь смѣнилась презрѣніемъ и пустотой. Она его больше не любитъ, она его ненавидитъ... А такіе рѣзкіе повороты души сопряжены съ величайшими душевными страданіями... Она близка къ самоубійству, а ей приходится выступать въ „Птичкахъ пѣвчихъ“... Вотъ ужъ по истинѣ:

Смѣйся, паяцъ, надъ разбитой любовью!..

— А кого она играетъ?

— Она поетъ Периколлу! Говорятъ, — лучшей Периколлы Казань еще не видала... Я весь день провелъ около ея постели. Изумительная чистота души! Встала и начала пѣть „О, другъ мой, тебя до могилы“... письмо Периколлы... И расплакалась, разрыдалась... Нѣчто потрясающее!

Вздохъ и новая пауза, а потомъ признаніе:

— Мы съ ней стали большими друзьями!

— Я въ эту дружбу мало вѣрю. Кто любитъ женщину, тотъ не можетъ быть ея другомъ... Не сердись и ты на меня, Федоръ, за откровенность: ты просто

влюбился и за дружбой прячешься самъ отъ себя... Любовь, братецъ, не политическая экономія!

Федя обидѣлся:

— Не будемъ залѣзать въ душу другъ къ другу. Я къ твоей душѣ отношусь съ бо̀льшей осторожностью, чѣмъ ты къ моей... Во всякомъ случаѣ я ей въ любви не признавался... а потому имѣю нравственное право говорить о дружбѣ...

— Вѣрно. Сознаюсь въ своей неделикатности... Надо спать...

Больше мы не разговаривали... Я лежалъ въ странномъ пріятномъ такомъ изнеможеніи, словно послѣ тяжелой операціи. Впереди никакихъ угрозъ: ни дуэли, ни женитьбы! Въ родѣ мухи, вырвавшейся изъ тенетъ паука... Облегченно всей грудью вздохнулъ, машинально перекрестился, отвернулся къ стѣнѣ и поплылъ въ страну забвенія...

Проспалъ до полдня безъ сновъ и движенія. Какъ камень безчувственный. За то проснулся бодрымъ, веселымъ и жизнерадостнымъ. Федя уже исчезъ и мы оказались въ тетъ-а-тетъ съ кобелькомъ. Подозрительно посмотрѣли другъ на друга и я расхохотался, а кобелекъ заворчалъ. Разсмѣшила меня появившаяся на шеѣ собаки голубая ленточка вмѣсто ошейника. Вотъ ужъ не подозрѣвалъ, что въ душѣ медика, тяготѣющаго больше къ политической экономіи и соціологіи, таится столько женственной сентиментальности! А псу это украшеніе шло такъ-же, какъ коровѣ сѣдло. Недовольно повелъ носомъ: смертельно воняетъ псятиной, а обозрѣвъ комнату, увидалъ у дверей лужу. Возмутился и оскорбился до глубины души. Такъ какъ Феди не было, то моя злоба излилась на пса: началъ лупить его башмакомъ, и собачій вой и лай встревожилъ все населеніе квартиры. Заглянула ворчливая хозяйка и, конечно,

произошло столкновеніе: она сдавала намъ комнату безъ собаки!

— А ужъ это вы разбирайтесь съ Федоромъ Павлычемъ: собака не моя. Не откажите прислать прислугу съ тряпкой... надо подтереть эту лужу...

— Боже мой! Я не могу допустить такого безобразія...

— Мнѣ тоже это не нравится...

Послышался звонокъ: появился посыльный, разыскивающій меня. Письмо въ художественномъ конвертѣ сиреневаго цвѣта, съ лирой. Заперъ на ключъ дверь и не безъ тревожнаго волненія вскрылъ конвертъ:

Милый, дорогой и жестокій!

Можете торжествовать: Вы оказались храбрѣе и благороднѣе Вашего противника. Онъ проситъ меня сообщить Вамъ, что считаетъ ссору недоразумѣніемъ по пьяному дѣлу и не настаиваетъ на дуэли...

Да, милый и жестокій, не все то золото, что блеститъ!

Я знаю, что за Вами остается право не согласиться на отказъ и знаю, что Вы — гордый и рѣшительный человѣкъ, щепетильно охраняюшій свою честь и достоинство, а главное: жестокій-жестокій... даже къ женщинамъ! У меня все-же остается надежда: теперь уже нѣтъ опасеній, что Васъ обвинятъ въ трусости, этотъ позоръ падетъ на голову моего кузэна. Если Вы меня еще не разлюбили, напишите мнѣ, что со своей стороны Вы считаете недоразумѣніе исчерпаннымъ и не настаиваете больше на дуэли.

Милый, жестокій! Докажите, что говорили правду о своихъ чувствахъ! Сдѣлайте мнѣ этотъ подарокъ и знайте, что я умѣю быть благодарной. Отвѣтьте немедленно. Не мучайте меня! Ваша Гирляндая".

P. S. Авансомъ посылаю контромарку на сегод-

няшній спектакль. Если Вамъ доставитъ удовольствіе посмотрѣть и послушать меня въ роли Периколлы, приходите въ театръ. Въ антрактахъ загляните ко мнѣ въ уборную: ужасно тоскую по Васъ, жестокій!

Стукъ въ дверь: посыльный. Онъ ждетъ отвѣта. Сѣлъ писать: не знаю, какое употребить обращеніе. У ней — „дорогой и милый“, а потому было-бы обидно отвѣтить „многоуважаемой“ или „милостивой государыней“. Если написать тоже „милая“ или „дорогая“, — не подтвердишь-ли этимъ своего объясненія въ любви во время ледохода? Я не имѣю никакого желанія поступить въ ея свиту, куда попалъ уже сентиментальный Федя. Напишу:

Наша прекрасная Гирляндайо!

А какъ отвѣтить? Согласенъ? А почему такъ быстро согласился? Во имя воображаемой любви? А, можетъ быть, тоже изъ трусости? Не такъ-то просто дать немедленный отвѣтъ. Я увѣренъ, что мое письмо будетъ читаться всѣми заинтересованными лицами, которые будутъ давать къ тексту свои толкованія...

„Наша прекрасная Гирляндайо!

Слышалъ отъ Федора Павлыча о Вашихъ мученіяхъ въ связи съ исторіей на ледоходѣ и, насколько въ моихъ силахъ, готовъ облегчить ихъ, но написать Вамъ, что я отказываюсь отъ дуэли могу лишь въ томъ случаѣ, если получу личное письмо отъ соперника, съ предложеніемъ взять обратно свой вызовъ и принести извиненія за словесныя оскорбленія, сдѣланныя имъ въ невмѣняемомъ состояніи опьяненія. Весьма растроганъ Вашей любезностью: постараюсь быть сегодня въ театрѣ и мы побесѣдуемъ о непріятномъ дѣлѣ подробнѣе, а пока разрѣшите поцѣловать Вашу руку...

А какъ подписаться? „Вашъ“? — не слишкомъ-ли?

А, впрочемъ, если она подписалась „Ваша“, — почему не сдѣлать того-же?

Подписалъ, законвертилъ и отдалъ посыльному.

Ну, кажется, все и для всѣхъ кончилось благополучно. Я почувствовалъ себя побѣдителемъ и ждалъ полной капитуляціи оскорбителя. Перечитывалъ надушенное письмо и побѣдно улыбался надъ строчкой, въ которой было написано многозначительное и таинственное „Знайте, что я умѣю быть благодарна!“. Довольно загадочно и соблазнительно! Только вотъ подпись: „Ваша Гирляндая“. Посмотрѣлъ на замѣнявшую образъ копію мадонны. Сходство есть, но всетаки это—не то! Эта—Гирляндайо, а та именно Гирляндая! Только Гирляндая...

Когда сидитъ молча, съ опущеннымъ скромно взоромъ, — очень похожа, изумительно похожа, а когда заговоритъ или засмѣется, — всякое подобіе исчезаетъ. Голосъ и смѣхъ ея не только мнѣ не нравятся, а раздражаютъ меня, рождая полное разочарованіе. Ахъ, если-бы наша Гирляндая никогда не говорила и не смѣялась, а всегда сидѣла молча, съ опущенными глазами!

Песъ заворчалъ, заподозривъ меня въ злыхъ мысляхъ, и оборвалъ мои размышленія о двухъ мадоннахъ...

Вечеромъ отправился въ театръ на „Периколлу“. Мѣсто въ третьемъ ряду партера. Впервые въ жизни сидѣлъ въ театрѣ на такомъ дорогомъ мѣстѣ и потому страшно неустойчиво себя чувствовалъ. Все казалось, что вотъ-вотъ подойдетъ приближающійся капельдинеръ и скажетъ:

— Вы заняли чужое кресло...

Очень обрадовался, когда на кресло рядомъ сѣлъ Федя. Онъ смутился, покраснѣлъ и произнесъ:

— Вотъ какъ... рядомъ!.. И ты заинтересовался?

— Я получилъ контромарку... отъ Гирляндайо...

— А! Такъ, такъ...

— Гдѣ ты пропадаешь?.. Тебя дома ждетъ [о]горченіе...

— Что случилось?

— Вѣроятно, изъ-за твоего кобеля придется искать комнату. Откровенно говоря, если-бы я зналъ, что этотъ спасенный кобель будетъ моимъ сожителемъ, я не одобрилъ-бы твоего подвига.

Федя обидѣлся:

— Почему всѣ возненавидѣли эту собаку? Каждый старается дать ей пинка!

— Вѣроятно, всѣ завидуютъ тебѣ, а такъ какъ эта собака была виновницей... твоего подвига, то...

Но тутъ взвился занавѣсъ и мы забыли другъ о другѣ... Мы впились глазами въ Периколлу. Скажу откровенно, что въ этомъ преображеніи наша Гирляндайо была обворожительна, очаровательна, изящна какъ фарфоровая статуэтка, женственна и порывиста, наивна, кокетлива и чертовски хороша! Не особенно сильный, но чистый голосокъ такъ ярко блестѣлъ на фонѣ хорового аккомпанимента, а ножки... наивныя, въ чистой простотѣ невѣдающія грѣховной стыдливости... Я пожиралъ Периколлу жадными глазами и завидовалъ Пекилло, котораго она любитъ!

Неужели это — она, мадемуазель Гирляндайо, которая написала мнѣ: „Милый, дорогой и жестокій!“ и многозначительно подчеркнула, что она умѣетъ быть благодарной? „Счастье было такъ возможно и такъ близко“, а я, дуракъ, прошелъ мимо! А теперь завидую Пекилло...

Весь плѣшивый первый рядъ партера, подобно артиллерійскимъ наводчикамъ, цѣлится биноклями исключительно въ нашу Гирляндайо, и громъ рукоплесканій заливаетъ театръ, когда опускается занавѣсъ. Вызовамъ нѣтъ конца. Периколла тащитъ за руку своего Пекилло и появляется передъ занавѣсомъ... Мы съ Федей у оркестроваго барьера, вмѣстѣ съ очарованными плѣшивцами. Такъ близко, близко. О, счастье! — она насъ узнала и, улыбнувшись, кивнула головкой трижды...

— Ну, что, братъ? — спросилъ Федя.

— Да! Не ожидалъ...

— Вотъ то-то и оно...

И Федя исчезъ... Куда онъ дѣлся? Несомнѣнно, побѣжалъ за кулисы. Потягивало туда и меня, но первый антрактъ я выдержалъ. Еще копошились обломки недавней гордости. Антракты еще будутъ. Федя вернулся на мѣсто, когда уже занавѣсъ поднялся.

— Она хотѣла-бы поговорить съ тобой — шепнулъ онъ мнѣ мимолетно.

Я упорствовалъ, какъ лошадь съ норовомъ. Но послѣ сцены, въ которой Периколла, побывавшая на обѣдѣ у губернатора, изображаетъ опьянѣвшую невинность и поетъ:

Какой обѣдъ намъ подавали!
Какимъ виномъ насъ угощали!
Ужъ я пила, пила, пила
И до того теперь дошла,
Что просто готова, готова, готова...
Но объ этомъ... ни слова, ни слова... молчи!

ледъ моего сердца тронулся и начался полный ледоходъ... Въ своемъ женственномъ опьяненіи Периколла побѣдила меня окончательно и въ антрактѣ я потянулъ Федю:

— Идемъ!

Никогда раньше я не бывалъ въ уборныхъ актрисъ, въ безтолковомъ закулисномъ лабиринтѣ. Тутъ совсѣмъ исключительная обстановка человѣческой жизни, быта и бытія, міръ особенныхъ отношеній, чувствъ, страстей. Все нереально, все фальшиво, какъ лихорадочный бредъ: фальшивые поцѣлуи, фальшивая любовь, фальшивыя слова, взгляды. Все условно, какъ и на сценѣ. Однако эта фантасмагорія для жертвъ театральныхъ подмостковъ — болѣе реальна, чѣмъ дѣйствительность.

Конечно, все это я постигъ уже въ зрѣлости, а тогда не понималъ и принималъ, какъ подлинную правду жизни.

Съ замираніемъ духа пробирался я за Федей, пугаясь встрѣчныхъ загримированныхъ людей въ необычайныхъ костюмахъ, ныряя въ какіе-то полутемные переулочки и корридорчики, гдѣ бурлила шумливая возбужденность...

— Сюда!

Федя тревожно стукнулъ въ дверку, за которой пестро звучали голоса. Мелодичный голосъ, точно совсѣмъ не тотъ, который мнѣ былъ знакомъ раньше, отвѣтилъ „можно!“ и мы вошли.

Цѣлая свора поклонниковъ, штатскихъ и военныхъ, цвѣты, вѣнки, ленты съ золотыми текстами. На столѣ бутылка шампанскаго во льду, недопитые бокалы... Периколла, какъ сказочная царевна, сидитъ въ похожемъ на тронъ бутафорскомъ креслѣ. Какой-то плѣшивый господинъ, припавъ на колѣно, застегиваетъ туфельку на протянутой ему ножкѣ и немилосердно пыхтитъ отъ удушья, а тонкая гибкая рука протянута мнѣ для поцѣлуя.

— Наконецъ-то!

Обворожительная улыбка, русалочный взглядъ, съ упрекомъ и загадочной лаской. Чудится, что Периколла дѣйствительно была на обѣдѣ у губернатора и пребываетъ въ женственномъ опьяненіи. Подведенные глаза кажутся глубокими озерами, полными глубинной тайны и подводныхъ чудесъ. Поморщилась вдругъ и приказала:

— Федя! Застегни пуговку, у мосье... какъ васъ?.. ничего не выходитъ.

Федя послушно брякнулся къ ногамъ Периколлы и дрожащими руками началъ застегивать пуговку, а плѣшивый поднялся, при общемъ хохотѣ окружающихъ, съ колѣна и виновато произнесъ:

— Растегнуть легче, чѣмъ застегнуть...

Протянулся по корридорамъ звонокъ и Периколла приказала:

— Ну, господа, маршъ, маршъ! Всѣ, кромѣ Феди и... Вы тоже останетесь!

Прямо точно вытолкала всѣхъ поклонниковъ.

— Мнѣ надо еще переодѣться... Хотите шампанскаго?

Я, при всей своей безцеремонности, смутился: какъ-же она будетъ при насъ переодѣваться?

А она нырнула за невысокую ширму и предложила не оглядываться.

— А теперь поговоримъ... Голубчикъ мой! Вы требуете невозможнаго. Вы хотите, чтобы офицеръ выдалъ вамъ удостовѣреніе въ своей трусости! Да за это его выгонятъ изъ полка! Милый! Дорогой! Золотой мой! Зачѣмъ такая жестокость къ людямъ, которые... ниже васъ? Докажите, что вы тогда, на ледоходѣ, говорили правду... Понимаете? Вы помните, что я писала вамъ? Понимаете?

— Понимаю.

— Федя! Помогите-ка! Не могу сама застегнуть... Я уже готова... почти.

Федя шарахнулся за ширму.

— Ахъ, медвѣдь! Когда вы острижете свои когти? Оцарапалъ...

Зазвенѣлъ второй звонокъ для актеровъ.

— Федя! Отыщите суфлера и скажите ему, чтобы не мѣшалъ мнѣ... Я отлично знаю роль и не люблю, чтобы...

Федя выскочилъ изъ уборной. Периколла, превратившаяся въ знатную даму, вышла изъ-за сокрытія, встала передъ зеркаломъ и начала величаво поворачиваться, озираясь черезъ плечо и продолжая нашъ разговоръ?

— Женя! Если ты меня хотя капельку любишь, ты исполнишь мою просьбу!

Я даже вздрогнулъ: такъ неожиданно было это „Женя“, а особенно — „ты“...

Она налила въ бокалы шампанскаго:

— Ну! Будетъ, золотой мой, ломаться... Хочешь поцѣловать меня?

Я не отвѣтилъ, но всталъ, съ явнымъ намѣреніемъ повиноваться, но раздался стукъ въ дверку и поцѣлуй не состоялся: Периколла поморщилась, шепнула:

— Федя!..

И погрозивъ мнѣ пальцемъ, бросила къ двери „входи!“ и стала наливать третій бокалъ.

— Мы тебя ждали, чтобы вмѣстѣ выпить за мой успѣхъ!

Чекнулись, выпили, а потомъ она сдѣлала величественный жестъ рукой:

— Теперь уходите! Маршъ, маршъ!..

Въ догонку она крикнула:

— Женя! Сегодня ты проводишь меня изъ театра! Мнѣ надо поговорить по дѣлу.

И вотъ мы снова въ партерѣ. Сидимъ рядомъ, но чувствуемъ себя неблизкими. Федя хмуръ и молчаливъ, избѣгаетъ меня глазами. Я понимаю, что Федя разстроенъ моей ролью „провожатаго“, но, вѣдь, я не напрашивался, а потому глупо на меня злиться. Разговоръ у насъ, дѣйствительно, остался неоконченнымъ. Это разъ. А затѣмъ, нельзя-же ѣхать на извощикѣ втроемъ!

Надо-ли говорить, что пропѣтое Периколлой письмо — „О, другъ мой, тебя до могилы я буду любить всей душой“ произвело огромное впечатлѣніе на весь театръ, заставило прослезиться многихъ дамъ и очаровало черствыхъ мужчинъ? Федя печально покачивалъ головою въ тактъ музыкѣ и, конечно, какъ ему, такъ и мнѣ, чудилось, что бѣдняжка имѣетъ намѣреніе аппелировать къ нашей сострадательности. Мнѣ казалось, что „о, другъ мой!“ это — я, Федѣ, что это — онъ.

Во всякомъ случаѣ милое грустное личико Периколлы во время пѣнія было обращено въ нашу сторону...

Потомъ Федя со вздохомъ сказалъ:

— Такъ спѣть письмо могла только большая и чистая душа! Глубоко страдающая отъ неудовлетворенности душа женщины... Пойдемъ въ буфетъ: выпить что-то захотѣлось!..

Ну, а когда выпили, наши души сдѣлались еще болѣе воспіимчивыми къ чужимъ страданіямъ: сцена въ тюрьмѣ, когда несчастные Периколла и Пекилло прикованы цѣпями къ стѣнѣ и тщетно рвутся другъ къ другу, чтобы поцѣловаться, — возмутила насъ свершаемымъ насиліемъ господъ губернаторовъ и настроила революціонно...

Кончился спектакль и начались безконечныя овація Периколлѣ.

— Ну, надо бѣжать за кулисы... Пойдешь?

— Нѣтъ ужъ... Иди одинъ... Тебѣ провожать, а я... я... мнѣ незачѣмъ...

— Поздравить съ успѣхомъ.

— Поздравить?.. Ну, пожалуй...

Пошли за кулисы. Мадемуазель Гирляндайо положительно опьянѣла отъ успѣха. Крѣпко поцѣловала насъ обоихъ послѣ послѣдняго выхода къ публикѣ и наградила насъ розами изъ поднесеннаго ей букета. Она все позабыла, перемѣшала и повела себя такъ, будто не я, а Федя будетъ ее провожать.

Могъ-ли я уступить Федѣ свое мѣсто?

— Вы просили м е н я!..

— Да, да... Помогите мнѣ собрать цвѣты и вещи...

Мы покорно принялись за работу, въ то время какъ она наскоро переодѣвалась за ширмочкой. Потомъ всѣ вмѣстѣ вышли изъ театра интимнымъ ходомъ.

— Дайте руку, я такъ устала, что чуть двигаю ногами...

— Подержи-ка, Федя!

Я сунулъ Федѣ часть своихъ вещей и взялъ подъ руку опьяненную успѣхомъ и утомленную игрой Гликерію Николавну. Она даже не сняла грима съ своего лица и все еще казалась Периколлой. Можетъ быть, она даже продолжала и чувствовать себя Периколлой, потому что и держалась, и говорила, и взглядывала, какъ было на сценѣ. Чары искусства еще продолжали владѣть ея душой. Признаться, и я несовсѣмъ еще отрѣшился отъ чудесъ театральнаго преображенія и мнѣ чудилось, что не Гликерія Николавна, а Периколла опирается на мою руку. И чувства мои къ ней были сейчасъ иными, чѣмъ въ дѣйствительности. Можетъ быть, я воображалъ себя Пекилло...

Мы усѣлись въ пролетку, Федя помогъ намъ уложить цвѣты и картонки и пролетка покатилась. Мы забыли проститься съ Федей.

Я бережно обвилъ рукой станъ Периколлы. Она прислонилась плечикомъ ко мнѣ и тихо замурлыкала:

О, другъ мой, тебя до могилы
Я буду любить всей душой...

большими подведенными печальными глазами посмотрѣла мнѣ въ лицо и спросила:

— Понравилась вамъ Периколла?

И вдругъ вся иллюзія исчезла. Прогнало ее прежде всего это „вы“ вмѣсто недавняго закулиснаго „ты“, а затѣмъ совершенно не Периколлинъ голосъ... Точно проснулся, недосмотрѣвъ прекраснаго сновидѣнія.

Была на душѣ благоговѣйная нѣжность къ бѣдненькой миленькой Периколлѣ, была радостная влюбленность въ сценическій призракъ, — и все исчезло. Осталась досада. Это напоминало дѣтство: вотъ такъ же досадно и обидно было мнѣ, когда выдутый въ трубочку мыльный пузырь, сверкая на солнышкѣ всѣми

цвѣтами радуги, неожиданно лопался и на лицо падала капля мыльной жидкости...

Наступало молчаніе и снова начинало казаться, что я похитилъ Периколлу. Заговоритъ, — и чудо исчезаетъ. Такъ повторялось нѣсколько разъ. Подведенные грустные глаза и мурлыканье арій изъ оперетты возобновляли очарованіе...

О, Боже, о, какъ ты мнѣ дорогъ!
Намъ надо разстаться на вѣкъ...

промурлыкала Периколла, когда пролетка остановилась у подъѣзда гостиницы, гдѣ жила она.

— Такъ рѣшено: драться на дуэли не будемъ?

— Да.

— Честное слово?

— Честное слово.

Она крѣпко меня поцѣловала и не успѣлъ я опомниться, какъ соскочила съ пролетки. Подбѣжалъ швейцаръ и забралъ цвѣты и картонки.

Периколла исчезла, пославъ мнѣ воздушный поцѣлуй. Не знаю, почему, — я почувствовалъ себя обманутымъ дуракомъ и вернулся домой съ досадой, обидой и раздраженіемъ. Федя уже былъ въ постели.

— Ну, что? Проводилъ?

— Ничего... Что-же другое могъ я сдѣлать?

Разбирала злость и на Федю.

На столѣ, въ стаканѣ съ водой, — пламенѣла подъ лампой роза.

— Ну, а какъ рѣшили съ дуэлью? — помолчавши, спросилъ Федя.

— Не будетъ!

— Я такъ и зналъ...

— Почему-же ты „такъ и зналъ“?..

Федя сѣлъ въ постели, придвинулъ стаканъ съ розой и воткнулъ въ нее носъ.

Я обозлился еще больше:

— Я нахожу, что у насъ омерзительно воняетъ псятиной. Я совершенно серьезно прошу удалить этого пса!

Слово за слово и мы поссорились...

— Какъ хочешь: либо со мной, либо со псомъ...

Въ отношеніяхъ между собакой и человѣкомъ есть много общаго съ отношеніями людей. Особенно бросается въ глаза необъяснимая инстинктивная симпатія и антипатія. Съ перваго взгляда, съ первой встрѣчи, между мной и „Брутомъ“ (такъ назвалъ Федя свое сокровище!) установилась антипатія. Песъ проявлялъ полное довѣріе къ Федѣ, а меня ненавидѣлъ и боялся. Моихъ приказаній не исполнялъ и огрызался даже въ томъ случаѣ, если я намѣревался покормить его отбросами своего завтрака.

— У, идіотъ! Дубина! Какой ты Брутъ? Ты дуракъ чистѣйшей воды...

Федя замѣчалъ мою непріязнь къ собакѣ и это отражалось на нашихъ дружескихъ отношеніяхъ. Уже нѣсколько разъ мы рѣшали разъѣхаться, но обоимъ было некогда искать комнату, возиться съ переѣздомъ. Такъ мы объясняли свою медлительность, а въ сущности, конечно, дѣло было не въ досугѣ, а въ дружеской привычкѣ жить вмѣстѣ. Мы напоминали надоѣвшихъ другъ другу супруговъ, которымъ вмѣсто тѣсно, а врозь скучно. Была и еще одна скрытая причина нашей связанности. Такимъ тайнымъ узелкомъ была мадемуазель Гирляндайо для Феди и „Периколла“ для меня. Увлеченіе Феди было цѣльное и чистое, безъ колебаній и сомнѣній, такой рабски-покорное, фатальное. Не знаю, какъ назвать мое чувство къ Гликеріи Николавнѣ. Я былъ въ нее влюбленъ въ разныхъ воплощеніяхъ на сценѣ, всего больше въ роли Периколлы, но моя влюб-

ленность далеко не была такой чистой, какъ у Феди... Грѣшныя мысли и чувства замущали мою душу, когда я неотрывно смотрѣлъ въ бинокль на „Периколлу“, на „Лису-Патрикеевну“, на „Елену прекрасную“... Смутно шевелилась въ душѣ жажда и надежда обладанія и казалось моментами, что я тону въ волнахъ бурливой страсти. Но на подмосткахъ подлинной реальной жизни Гликерія Николаевна рождала во мнѣ какое-то болѣзненное раздраженіе... Я раздваивался: та и не та! Влюбленъ и равнодушенъ, раздраженъ на обманъ и всетаки ревнивъ и подозрителенъ. Когда она особенно нѣжна и ласкова со мной, — я грубъ и дерзокъ, а когда она даритъ улыбками другихъ, я страдаю отъ ревности. Я люблю въ ней моментами вспыхивающіе призраки тѣхъ женскихъ образовъ, которые она сотворила на сценѣ и злобствую, когда эти призраки исчезаютъ и остается только Гликерія Николавна. Не любовь, а какое-то наваждѣніе!

А вотъ Федя всегда смотритъ на нее съ одинаковымъ умиленіемъ, благоговѣніемъ и собачьей преданностью, покорностью. И онъ, Федя, ей ближе, чѣмъ я...

А впрочемъ, не завидую этой интимности: она основана на несвойственной мнѣ способности быть на лакейскихъ побѣгушкахъ у любимой женщины... Пусть себѣ застегиваетъ позади пуговки, зашнуровываетъ башмачки, подаетъ пальто, бѣгаетъ за извощиками и пр. и пр. Несчастный рабъ! У него экзаменъ по анатоміи, а онъ въ анатомическій театръ носу не показываетъ, предпочитая театръ опереточный... Вообще въ этомъ Федѣ много бабьяго... И не вѣрится мнѣ, чтобы онъ могъ сдѣлаться героемъ романа... даже опереточнаго.

Однажды, въ минуту раздраженія, я сказалъ Федѣ:

— Ты напоминаешь мнѣ того несчастнаго узника изъ „Периколлы“, который, ковыряя перочиннымъ ножичкомъ потолокъ, говоритъ: „Еще тридцать лѣтъ и я буду свободнымъ!“.

— Не понимаю твоего сравненія! — обиженно произнесъ Федя. Что ты этимъ хочешь сказать?

— Помнишь, что сказалъ Пушкинъ? „Чѣмъ меньше женщину мы любимъ, тѣмъ больше нравимся мы ей“...

— Пусть этимъ руководствуются разные Донъ-Жуаны. Я не изъ ихъ числа...

— Терпѣніе и трудъ все перетрутъ? Такъ по твоему?

Федя пожалъ плечами и уткнулся въ анатомію.

Однажды, вернувшись домой, я увидалъ на письменномъ столѣ Феди большой портретъ Грикеріи Николавны въ стеклянной рамкѣ. Одѣта въ тотъ самый костюмъ мадонны, въ которомъ мы впервые увидѣли ее во дни ледохода. Поперекъ портрета собственноручная надпись:

„Люблю-ли тебя, — я не знаю,
Но кажется мнѣ, что люблю“...

Эта новинка больно кольнула меня въ душу. Вотъ какъ! Не ожидалъ такихъ успѣховъ. Ай, да Федя Троянскій! Недаромъ у него такая громкая фамилія. Ревность зашевелилась въ груди. Появилось желаніе соперничества, и скоро на моемъ столѣ появился такой-же величины портретъ „Периколлы“ съ надписью:

„О, другъ мой, тебя до могилы
Я буду любить всей душой!“.

Я не присутствовалъ при томъ моментѣ, когда вернувшійся домой Федя впервые увидалъ на моемъ столѣ портретъ Гликеріи Николавны въ роли Периколы, но первая-же встрѣча послѣ этого съ нимъ убѣдила меня въ томъ, что наша дружба треснула. Когда я вошелъ въ комнату, Федя даже не обернулся. Онъ былъ такъ замкнутъ и холоденъ, словно я пересталъ для него су-

ществовать. Чтобы не говорить со мной, онъ изображалъ углубленнаго въ изученіе анатоміи студента, бормоталъ латинскіе термины, что то писалъ и потомъ сидѣлъ съ прикрытыми ладонями рукъ лицомъ, но отъ всей фигуры его источалась непріязнь ко мнѣ. Я чувствовалъ ее въ Фединой спинѣ, въ затылкѣ съ вихромъ, въ тихомъ покашливаніи и въ шепотѣ латинскихъ терминовъ. Почему такая внезапная перемѣна? Ревность? Конечно. Несомнѣнно, она проснулась отъ сравненія надписей на нашихъ портретахъ: у него — „люблю-ли тебя, я не знаю“, а у меня — „тебя до могилы я буду любить всей душой“. Откровенно говоря, какъ только я получилъ портретъ, получилъ съ такой легкостью, желаніе конкурировать съ Федей у меня пропало, а что касается надписи на полученномъ портретѣ, то она не рождала во мнѣ никакого любовнаго энтузіазма. Я чувствовалъ и понималъ, что тутъ вовсе не любовь, а только игра въ нее. И потому подозрительность друга и его муки ревности меня только смѣшили, развлекали. Я попробовалъ заговорить съ Федей въ шутливомъ тонѣ:

— Изучаешь анатомію человѣка?

Федя молча кивнулъ головой и сильнѣе прикрылся руками. Только уши его покраснѣли и выдали сдерживаемое волненіе.

— А я, братъ, занялся психологіей женщины. Это — куда любопытнѣе... Ты имѣешь дѣло съ трупомъ, а я съ живой душой...

Федя оторвался отъ книги плотно, прикрылъ лицо ладонями рукъ и съ хрипотцой въ голосѣ холодно произнесъ:

— Ты превращаешь женскую душу въ препаратъ для анатоміи?

— Пожалуй, что и такъ... Я думаю, что Донъ-Жуанъ занимался тоже этимъ дѣломъ...

Я засмѣялся и, ходя по комнатѣ, сталъ напѣвать изъ „Карменъ“ — „Любовь свободна“... Свернувшійся

клубкомъ на постели „Брутъ“ вынулъ голову изъ брюха и заворчалъ по моему адресу, а я продолжалъ пѣсенку Карменъ:

Меня не любишь, но люблю я,
Такъ берегись любви моей...

Словъ не хватало и я помогалъ себѣ насвистываніемъ.

— А по твоему, Донъ-Жуанъ подлецъ и больше ничего? Ты плохо знаешь литературу. Это, братъ, мученикъ, всю жизнь искавшій идеала красоты и ненаходившій его... Слишкомъ примитивно ты понимаешь жизнь и людей...

— Бросимъ!—недовольно произнесъ Федя, встряхнувъ головой.

Брутъ спрыгнулъ съ постели и, остановившись у двери, началъ подвывать.

— Э, чертъ!..

Федя сорвался со стула, схватилъ шляпу и повелъ пса на прогулку. По пути онъ далъ собакѣ пинка и потомъ ругался въ корридорѣ съ квартирной хозяйкой.

Дня три послѣ этого мы другъ для друга отсутствовали: какъ-то такъ складывались обстоятельства, что либо я, возвратившись домой, находилъ Федю спящимъ, либо онъ приходилъ, когда я былъ уже въ постели. Трехсуточное молчаніе увеличило трещину въ нашихъ отношеніяхъ: мы начали какъ-то стѣснять и стѣсняться другъ друга, точно малознакомые.

Однажды, когда я пребывалъ дома въ тетъ-а-тетъ съ собакой, раздался звонокъ и я услышалъ прозвучавшій въ передней женскій голосокъ. Стукъ въ дверь... Я соскочилъ, наскоро привелъ себя въ ряшливое состояніе и отвѣтилъ.

— Можно!

Отворилась дверь и въ комнату впорхнула живая

копія мадонны Гирляндайо. Такъ начинаются обыкновенно новыя „явленія“ въ пьесахъ: еще не поздоровавшись, гостья начала прямо монологомъ, полнымъ темперамента и страсти:

— Нестыдно? Такъ-то вы меня любите! Что вышло между вами? Почему вы не показываете въ театръ носа? Разлюбили уже? Разочаровались?

Только тутъ, сдернувъ перчатку, она протянула мнѣ тонкую изящную руку для поцѣлуя, а когда я поцѣловалъ, эта рука игриво шлепнула меня перчаткой по лицу.

Потомъ она начала разговаривать съ Фединой собакой и та не ворчала, а привѣтливо покачивала хвостомъ и норовила лизнуть гостью въ губы... Неожиданно оборвавши этотъ разговоръ, она обернулась ко мнѣ и спросила:

— Что вышло между вами и Федей? Объясните пожалуйста!

— Спросите его. Чужая душа — потемки.

— Съ нѣкоторыхъ поръ онъ положительно сталъ Гамлетомъ, разрѣшающимъ вопросъ „быть или не быть“... Бросилъ свои экзамены... Гуляетъ по кладбищамъ... Я подозрѣваю, что... вы его обидѣли... и боюсь! Я такъ напугана этими дуэлями... Въ чемъ дѣло? Шерше ля фаммъ?

Она погрозила мнѣ пальчикомъ.

— Я слышала, что вы изучаете психологію женской души? Опасная, другъ мой, наука! Съ огнемъ не шутятъ... А, впрочемъ, я тоже склонна къ этимъ экспериментамъ.

— Я застрахованъ... отъ этого огня.

— Вы такъ думаете?

Пронзительный взглядъ прямо въ глаза, взглядъ, повѣянный синимъ туманомъ загадочности...

— И кого-же вы избрали своей жертвой? — спросила она, прищурясь.

— Кого я избралъ, разрѣшите скрыть, а вотъ вашъ выборъ, по моему, неудаченъ во всѣхъ отношеніяхъ.

— О комъ идетъ рѣчь?

— Не будемъ называть именъ.

— Почему неудаченъ?

— Лежачаго не бьютъ. Тутъ и изучать-то нечего: все ясно и никакихъ загадокъ не имѣется. Полное рабство! Развѣ это интересно? Вы какъ-то упрекнули меня въ жестокости. Я нахожу, что это — съ больной головы на здоровую... Помните, какъ окончилась драма несчастнаго раба донъ Хозэ въ „Карменъ“?

— Ну, я не любительница трагедій...

— Теперь вамъ понятно, почему Федя превратился въ Гамлета?

— Ахъ, вотъ что!

Она звонко расхохоталась дѣланнымъ сценическимъ смѣхомъ, но подъ нимъ такъ прозрачно звучало оскорбленное самолюбіе. Точно я ее больно обидѣлъ: пропала сразу беззаботность и рѣзвость птички, игривая кокетливость, туманная устремленность взглядовъ. Вѣроятно, только теперь она поняла, что я все время говорилъ не о самомъ себѣ, какъ жертвѣ, а о Федѣ... И какъ разъ въ этотъ моментъ отворилась дверь и появился Федя...

— Виноватъ.. Я, кажется, помѣшалъ...

Онъ круто повернулся и торопливо вышелъ изъ комнаты. Она бросилась къ двери:

— Федя! Федя! Сумасшедшій!..

Но хлопнула выходная дверь — Федя исчезъ...

Она вернулась:

— Онъ положительно ненормаленъ!

Она встревожилась, суетливо схватила зонтикъ, мимолетно посмотрѣлась въ зеркало, ткнула мнѣ руку для поцѣлуя и мимоходомъ бросивъ „глупый мальчишка!“, ушла...

Кто — глупый мальчишка? Я или Федя? — осталось непонятнымъ...

Навожденіе кончилось. Наша живая копія мадонны Гирляндайо на этотъ разъ показалась мнѣ и глупой и смѣшной. Послѣ ея исчезновенія, я долго стоялъ передъ мертвой копіей, на которую тайно молился Федя, внимательно вглядывался и думалъ:

— Ничего похожаго!

Если-бы она еще никогда не говорила, никогда не смѣялась, никогда не кокетничала, не улыбалась, а всегда оставалась-бы молчаливой, съ опущенными стыдливо глазами, съ сомкнутымъ ртомъ и съ склоненной набокъ головкой, — можно было-бы говорить о нѣкоторомъ отдаленномъ сходствѣ, да и то съ большой подмогой собственной фантазіи... У этой, мертвой копіи, не можетъ быть такого голоса, такого смѣха, такой улыбки, глаза не могутъ такъ вскидываться и хлопать рѣсницами, какъ это выходитъ у живой копіи... Это — раскрывающая и закрывающая, глаза кукла!

— Ерунда!

Однажды, вернувшись домой, я нашелъ Федину кровать безъ одѣяла, простыни и подушки. Одинъ матрацъ. На столѣ — пусто. На вѣшалкѣ — тоже. На полу — порванныя бумаги и слѣды грязныхъ ногъ. Тревогой и грустью пахнуло въ душу... На своемъ столѣ, подъ портретомъ Периколлы, я нашелъ письмо. Порвалъ конвертъ и прочиталъ:

„Не сердись на меня, что я такъ долго не могъ найти комнаты, чтобы освободить тебя отъ сожительства съ собакой. Только вчера удалось мнѣ это. Шлю тебѣ привѣтъ и пожеланіе всего добраго. Надѣюсь, что такъ будетъ удобнѣе намъ обоимъ и что ничто не помѣшаетъ намъ сохранить нашу старую дружбу и товарищескія отношенія. Съ хозяйкой я расплатился. Твои

книги положилъ на твою этажерку. Федоръ Троянскій".

Письмо это меня растрогало.

— Эхъ! Чертъ-бы взялъ эту мадемуазель Гирляндайо!

Конечно, дѣло было не въ собакѣ, а именно въ ней. Нѣсколько разъ мы съ Федей встрѣчались въ университетѣ и на улицахъ, старались показать другъ другу, что ничто не измѣнилось въ нашихъ отношеніяхъ и что мы по прежнему — друзья. Но не выходило. Оба смущались, затруднялись при разговорѣ, наши вопросы другъ къ другу носили отпечатокъ неискренности, какъ и дружеское „ты".

— Ну, какъ, что новаго?

— Ничего...

— Денекъ-то сегодня!

— Да...

Однажды весеннимъ вечеромъ я сидѣлъ у раскрытаго окна въ садикъ и радостно впивалъ въ себя звуки и запахи весны. Постучали въ дверь и прозвучалъ глухо мужской голосъ. По голосу я не узналъ, кто — за дверью, и очень удивился, когда вошелъ Федя Троянскій. Онъ былъ точно послѣ серьезной болѣзни: худъ, блѣдѣнъ, сумраченъ и необычайно серьезенъ.

— Ну, садись! Очень радъ. Спасибо, что вспомнилъ... Будемъ чай въ саду пить?

— Нѣтъ, спасибо. Я къ тебѣ по дѣлу...

Присѣлъ на стулъ. Долго смотрѣлъ въ полъ, покашливалъ и молчалъ. Потомъ началъ такъ тяжело, съ запинками, точно тащилъ непосильный возъ...

— Я къ тебѣ... по большому для меня дѣлу... Если ты честный человѣкъ, ты долженъ понять... Я во многомъ расхожусь съ тобой во взглядахъ на жизнь, на женщину, на любовь, но... Но другого выхода у меня нѣтъ...

Онъ вздохнулъ и потерялъ слова. Поглаживалъ свою шляпу и не смотрѣлъ мнѣ въ лицо...

— Да, братъ... Бываютъ случаи въ жизни, когда... Что-же подѣлаешь? Такая ужъ судьба и доля... Гордіевъ узелъ, какъ говорится...

— Да говори прямо! Я не понимаю, въ чемъ дѣло!

— Прямо... Это трудно сказать прямо... Ну, короче говоря, вотъ что! Рѣчь идетъ о нашихъ отношеніяхъ... Я, ты и Гликерія Николавна! Понимаешь, конечно...

— Не понимаю.

— Не будемъ скрывать другъ отъ друга... Ты мѣшаешь ей любить меня, я мѣшаю ей любить тебя... Такъ продолжаться не можетъ... Это тяжело для всѣхъ насъ...

— Ты ошибаешься... и напрасно вставляешь меня въ какой-то Гордіевъ узелъ...

Федя криво улыбнулся и махнулъ рукой:

— Не надо лжи! Мы всѣ въ ней запутались... Ты смотришь на все... ну, легче, чѣмъ я... Не признаешь этихъ Гордіевыхъ узловъ... Можетъ быть, такъ оно лучше, легче... Но я... Надо уважать взгляды и чувства другого, каковы-бы они ни были, согласны и понятны тебѣ или чужды...

— Да я вовсе не люблю и не страдаю и вообще... Я просто не считаю себя твоимъ соперникомъ!

— Всякій любить, какъ можетъ и умѣетъ... Съ кѣмъ изъ насъ она будетъ счастливѣе, пусть рѣшитъ судьба...

— Ты просто во власти навязчивой идеи!

— Возможно. Но Гордіевъ узелъ надо разрубить... Одинъ изъ насъ долженъ сойти со сцены...

— Съ какой сцены?!

— Со сцены жизни... Пусть пистолеты рѣшатъ этотъ выборъ...

Я расхохотался. Похлопалъ Федю по плечу и шутливо произнесъ:

— Я не хочу, чтобы отъ нашей любви, Федя, пахло трупомъ! Посмотри-ка въ садъ! Цвѣтутъ яблони и черешни; въ саду гремитъ музыка. Продаютъ ландыши. Зацвѣла сирень...

Федя всталъ, откинувъ съ своего плеча мою руку, и съ тяжелымъ дыханіемъ выговорилъ:

— Вы отказываетесь? И разрѣшаете сообщить объ этомъ любимой вами женщинѣ?

— А! Сдѣлайте одолженіе, только оставьте меня въ покоѣ!

Федя окинулъ меня презрительнымъ взглядомъ:

— Трусъ! — бросилъ онъ сквозь зубы и пошелъ къ двери, а я продолжалъ смѣяться.

Въ концѣ мая Федя Троянскій застрѣлился. Онъ оставилъ загадочную записку, всего въ два слова: „Будьте счастливы!“...

Новодѣвичье.

Много-много лѣтъ прошло и много воды изъ Волги-матушки въ море Хвалынское утекло, а все какъ, бывало, случится по Волгѣ плыть низовымъ плесомъ да какъ загудитъ пароходъ двойнымъ свисткомъ протяжнымъ, дѣлая поворотъ, чтобы къ Новодѣвичью пристать, — сердце усталое тревогу забьетъ и душа заноетъ, рванувшись безсильнымъ порывомъ назадъ, въ страну радостную, имя которой — „Младость".

— Новодѣвичье! Новодѣвичье! — радостно закричитъ душа, и глаза вопьются въ разбросанныя по зеленымъ косогорамъ „Дѣвьихъ горъ" домики съ расписными ставнями, въ купола синіе, къ небесамъ золоченые кресты возносящіе, въ песчаный откосъ, куда потревоженная пароходомъ рѣка свою волну гонитъ и гдѣ кипитъ рѣчная жизнь, пестрая, красочная, крикливая. Все тутъ памятно и все точно родное! Вонъ тамъ, на горной луговинкѣ, подъ старыми березами, все по прежнему старички бородатые съ подожками посиживаютъ, дѣвки съ цвѣтными лентами въ косахъ разгуливаютъ, а около нихъ—парни съ гармошками увиваются. А поднимешь глаза выше: сады, а еще выше — мельницы-вѣтрянки въ рядъ выстроились и крыльями, словно руками, тебѣ машутъ. Точно обрадовались встрѣчѣ со старымъ знакомымъ!..

Такъ-бы сбѣжалъ съ парохода да по знакомой тропинкѣ, черезъ овражки, сады и огороды,—на горы,

а потомъ по мосточку черезъ рѣченку — въ слободу, къ завѣтному домику, что спрятался въ зеленомъ садочкѣ...

Все кажется, что вернуть невозвратное можно...

Кабы Волга-матушка да вспять побѣжала,
Кабы можно было жить, братцы, сначала!...

Новодѣвичье!.. И кто только такое благоухающее названіе придумалъ?

— Наши старики такъ объясняютъ. Горы эти — къ Жегулямъ онѣ подходятъ—у насъ Дѣвьими горами называютъ. Жили въ этихъ мѣстахъ въ старину глубокую разбойныя дѣвки, въ родѣ какъ басурманской вѣры. Красивыя, но отчанныя головушки. Жили, дескать, по своей вольной волюшкѣ, то есть безъ нашего брата — мужиковъ. Своего атамана-дѣвку имѣли и, какъ Стенька Разинъ, разбоемъ промышляли, купецкія баржи съ товарами грабили. Сказываютъ, что въ старину тутъ лѣса глухіе непролазные были, овражистые, и въ оврагахъ тѣхъ вольныя дѣвки свой станъ держали. И сейчасъ въ оврагахъ пещеры показываютъ и будто-бы въ тѣхъ пещерахъ, на большой глубинѣ, агромадный кладъ схороненъ, да только „слово“ надо знать вѣщее, чтобы дался человѣку кладъ тотъ: три, дескать, сорокушки золота чистаго, три серебра и три каменьевъ самоцвѣтныхъ. Сказываютъ, что кладъ тотъ только дѣвкѣ дастся, которая никѣмъ еще нетронута, отъ грѣха, значитъ, сладкаго не отвѣдала... Ну, вотъ и жили эти вольныя дѣвки на полной свободѣ и такой, дескать, законъ у нихъ былъ: всѣхъ мужиковъ и парней приканчивать, а въ полонъ не брать, ну, а женское сословіе не забижать. А потомъ, когда царь Иванъ Грозный отъ Казани сталъ къ Астрахани подбираться, и дѣвкамъ конецъ пришолъ. Гдѣ теперь слобода, на томъ мѣстѣ Грозный ц рь военный постъ приказалъ поставить. А дружин-

ники — народъ молодой. Конечно, всѣхъ дѣвокъ переловили, изъ пещеръ повытаскали да себѣ въ жены разобрали, робятъ родить заставили. Нарубили лѣсу, избенки поставили по нагорью, вотъ и деревенька выросла, и назвали ту деревеньку въ память о вольныхъ дѣвкахъ — „Новодѣвичьемъ“...

Теперь на мѣстѣ этой деревеньки — слобода большая, вся въ яблочныхъ и вишневыхъ садахъ тонетъ. Двѣ церкви съ куполами синими. Каменные дома съ желѣзными зелеными крышами есть, торговый рядъ съ лавками, мельницъ-вѣтрянокъ десятка два—и всѣ зерно жуютъ безъ передышки. Богатая слобода! По воскресеньямъ — базары что твоя ярманка!..

Кромѣ пещеръ въ оврагахъ ничего отъ прошлыхъ вѣковъ не осталось. Ну, а насчетъ „женскаго сословія“ памятка крѣпко держится: и баба и дѣвка — ой-ой какъ бойки и на слово проворны! Здѣсь про дѣвокъ говорятъ — „женится“, а про парней — „замужъ выдаютъ“! Идетъ молва, что въ Новодѣвичьѣ не мужики своихъ бабъ, а бабы мужиковъ бьютъ. Можетъ, и врутъ, да, вѣдь, чего въ жизни не случается? Ну, а что бабы съ дѣвками здѣсь красивѣе, виднѣе и бойчѣе мужиковъ и парней — спорить не приходится: поглядѣть достаточно. Что ни дѣвка — то малина, что ни баба — то король! А ужъ какъ пѣсни поютъ, пляшутъ да въ хороводы играютъ, — не наслушаешься и не наглядишься! Ну, и голосистыя-же! Поетъ-ли, реветъ-ли, воетъ-ли по покойнику или ругается, — въ тихій лѣтній вечеръ по всей Волгѣ-матушкѣ слыхать. А послушайте да поглядите, что дѣлается у пристаней, когда легкій пароходъ подвалитъ: словно въ бабьемъ аду! Это онѣ съ лоточковъ липовыхъ всякую всячину пассажирамъ продаютъ: стерлядокъ и курицъ жаренныхъ, поросячьи задочки, пироги съ ягодами, яйца печенныя, огурцы соленые, яблоки, груши, подсолнухи. Иной пассажиръ, непривычный къ такому гвалту, отъ этого бабьяго содому

и хватанія за руки и за ноги, за что ни попало, со страху поскорѣй обратно на пароходъ торопится. Разорвать человѣка готовы! И насмѣшницы-же! Въ иной разъ на пассажирку-барыню обидятся насчетъ черстваго тамъ или тухлаго, такъ такого ей наговорятъ, — прямо уши затыкай!

— У тебя, барыня, носъ на тухломъ мѣстѣ!

— Ты, барыня, сама-то мятая, а ягода у меня только утресь снятá. Никто не мялъ!

А вотъ мужики съ парнями, тѣ смирные. Многіе съ весны до поздней осени дома не живутъ: на Волгѣ плаваютъ. Отъ Волги не только кормятся, а которые и богатѣютъ. Кто въ матросахъ, кто — въ водоливахъ, кто въ штурманахъ, а случается, что и капитанами на буксирныхъ пароходахъ плаваютъ. Отъ этого въ слободѣ, почитай у всѣхъ, ставни да оконницы въ избахъ масляной краской покрашены: у кого сурикомъ, у кого — лазурью. А надъ воротами пароходики подѣланы. Есть прямо купцы второй гильдіи: свои баржи и косоушки имѣютъ, арбузы и дыни изъ Царицына и Дубовки тянутъ. Но только ересь кругомъ: больше половины жителей въ церковь не ходятъ. Кулугурами ихъ здѣсь православный народъ называетъ...

Было это въ разгаръ весны, когда вся земля цвѣла и благоухала и потому, вѣроятно, Новодѣвичье мнѣ до сей поры вспоминается въ зелени, въ цвѣту яблонь, вишенъ, черемухи и сирени, на вечерней зарѣ, непремѣнно съ поющей гдѣ-то грустно кукушкой и съ вечернимъ звономъ церковнаго колокола...

Весенняя сказка! Въ юности въ эту пору съ нами много чудесъ случается...

Не чудо-ли, въ самомъ дѣлѣ?

Окончивъ гимназію, ѣду на лѣто въ Самару, къ роднымъ.

Когда пароходъ присталъ къ Новодѣвичью, я увидалъ съ балкона на пристани, среди продающихъ весенніе цвѣты слободскихъ дѣвушекъ, одну незабвенную, опалившую меня туманомъ глазъ своихъ и улыбкою на губахъ... одну, влившую въ мою душу тревогу безграничной радости невѣдомаго еще счастья любви...

Простая слободская дѣвушка въ платочкѣ!

Такъ и рванулась къ ней душа моя, точно безцѣнную драгоцѣнность увидалъ на пыльной человѣческой дорогѣ.

Купилъ у нея ландышей и незабудокъ и, пока пароходъ стоялъ, не сводилъ съ нея изумленнаго взора. И такъ испугалось сердце, когда пароходъ загудѣлъ прощальнымъ сигналомъ къ отходу!

Цвѣточницы запримѣтили мою устремленность въ одномъ направленіи и начали подшучивать и надо мной, и надъ той, что приковала мою душу и глаза.

— Что больно глазомъ-то зацѣпился? Коли полюбилась, слѣзай съ парохода-то!

— И ей ты пондравился! Гляди, какъ зарумянилась!

— Слѣзай поскорѣе! Лучше не найдешь на всей Волгѣ! Купи ужъ и у меня цвѣточковъ-та!

Говорили еще что-то, но пароходъ зашумѣлъ паромъ и колесами, и конторка, полная людей, поплыла назадъ. Клубы дыма изъ пароходной трубы взметнулись и закрыли дѣвушекъ. И все порвалось и исчезло. Только ландыши съ незабудками остались въ моей рукѣ и продолжали волновать душу грустной радостью отъ этой случайной и мимолетной встрѣчи...

Ландыши и незабудки! Всякій разъ, когда я увижу ихъ вмѣстѣ, въ памяти ярко вспыхнетъ этотъ моментъ перваго навожденія, а за нимъ уже начинается быстрая смѣна: то теплая ночь, когда изъ садовъ благоухающихъ танственно свѣтятся вздрагивающіе огоньки прячущихся въ садахъ домиковъ, а церковный колоколъ

бросаетъ въ тишину ночи медленные звоны отбиваемыхъ часовъ; то блѣдно-сиреневый разсвѣтъ, когда начинаютъ потухать звѣзды, въ разныхъ концахъ слободы перекликаются пѣтухи, а предутренній вѣтерокъ пугаетъ вздрогами и шепотами садовой листвы. А потомъ воскресаетъ и самое чудо: туманные дѣвичьи глаза, русая коса, горячія губы, робкій шепотъ и крѣпкій поцѣлуй:

— Пора уходить... Скоро люди проснутся... — шепчетъ пугливая настороженная дѣвушка, та самая, которая продала мнѣ ландыши съ незабудками на пароходной пристани...

Какъ-же случилось это чудо?

Невыразимую тоску привезъ я въ Самару вмѣстѣ съ купленными ландышами и незабудками. Точно потерялъ что-то самое дорогое и драгоцѣнное. Вотъ уже увяли ландыши съ незабудками, а дѣвичье лицо съ туманомъ въ синихъ очахъ не блекнетъ, не уходитъ изъ памяти. Стоитъ закрыть глаза и предо мною стоитъ смущенная дѣвушка изъ Новодѣвичья. Снится въ туманѣ сонныхъ грезъ предъ разсвѣтомъ. А очнешься, душа спрашиваетъ:

— Неужели ты никогда въ жизни не увидишь больше это дѣвичье лицо съ синимъ туманомъ въ глазахъ?

А, вѣдь, такъ это легко... Вонъ въ синихъ туманахъ видны Жегулевскія ворота, а тамъ, въ концѣ Жегулей — „Дѣвьи горы“, а на отрогахъ этихъ горъ — Новодѣвичье, а въ Новодѣвичьѣ...

Господи, какая скучища въ этой пыльной раскаленной солнцемъ Самарѣ! И какъ безконечно тянется время. Можетъ быть, когда я поѣду обратно въ Казань и пароходъ пристанетъ къ Новодѣвичью, я увижу на пристани еще разъ мою цвѣточницу...

Увидать-бы хотя еще одинъ разъ въ жизни!

Никакихъ любовныхъ страданій я не испытывалъ, но душу не покидала непонятная тревожная грусть и

радость. Это и тоской нельзя назвать. Грустно-радостное томленіе, отъ котораго хотѣлось тихо-тихо напѣвать безъ словъ грустную народную пѣсенку о разлукѣ, о чужой-дальней сторонушкѣ, о какой-то зазнобушкѣ...

Я даже не зналъ имени той дѣвушки. И мнѣ вовсе не нужно было это...

Прошло три мѣсяца. Въ юности, для любовнаго испытанія, срокъ значительный... Развѣ мало и въ Самарѣ красивыхъ дѣвушекъ? Глаза во всѣ стороны разбѣгаются... А тутъ еще такое великое событіе въ жизни: превращеніе недавняго гимназиста въ студента! Столько радостныхъ хлопотъ впереди: надо получить изъ гимназіи аттестатъ зрѣлости и подать его съ прошеніемъ въ университетъ, надо найти комнату и сожителя, рѣшить вопросъ о факультетѣ. Впереди — новая жизнь...

Тускнѣть сталъ образъ дѣвушки съ туманнымъ взоромъ и не рождалъ уже радостной тревоги въ воспоминаніяхъ...

Ѣхалъ изъ Самары въ Казань, поглощенный переходомъ на студенческое положеніе, и совсѣмъ не думалъ о дѣвушкѣ въ платочкѣ. Но когда пароходъ присталъ къ Новодѣвичью, радостная тревога неожиданно воскресла съ новой силою.

— Новодѣвичье!

Я стоялъ на балконѣ парохода и искалъ глазами дѣвушку съ цвѣтами въ толпѣ на пристани...

Нѣтъ ея! Давно отцвѣли уже ландыши и незабудки и скошены всѣ луговые цвѣты. И такая тоска пробудилась вдругъ въ душѣ моей, что померкли всѣ радости ожидающей меня въ Казани новой жизни. И когда пароходъ загудѣлъ жалобнымъ сигналомъ къ отвалу, точно кто-то незримый подтолкнулъ меня: я торопливо забралъ свои вещи и сошелъ съ парохода на пристань. Кто-то шепнулъ: останься до другого парохода?

Зачѣмъ я слѣзъ? Я еще и самъ не зналъ, зачѣмъ я сдѣлалъ это. Глупо! Конечно. Я и самъ моментально

понялъ это, понялъ, что поступилъ неблагоразумно. Но что подѣлаешь? Благоразуміе въ юности всегда запаздываетъ. Когда опомнился и рванулся, было, назадъ, пароходъ мой уже отдѣлился отъ конторки и я почувствовалъ себя во власти всемогущей случайности.

И вотъ я отдался въ ея полное распоряженіе. Плыву въ пестрой толпѣ съ пристани на берегъ, не зная еще, куда именно, и вдругъ мой чемоданъ словно вылетаетъ изъ рукъ. Что такое? Смотрю: мой чемоданъ плыветъ уже впереди меня на плечѣ какого-то подозрительнаго субъекта изъ породы волжскихъ босяковъ... Я разсердился, и началъ, было, искать, глазами какое-нибудь оформленное начальство, но такого поблизости не оказалось, а на лицѣ обернувшаго босяка играла такая радостная и невинная улыбка, совсѣмъ несвойственная преступникамъ, что душа моя сразу смягчилась:

— За пятачекъ, баринъ, хоть на край свѣта донесу! Васъ куда доставить? По какимъ дѣламъ прибыли?

— Сперва ты мнѣ скажи, кто ты такой? Босякъ?

— Я-то? Босякъ ходитъ босикомъ, а я, слава Богу, обутъ и одѣтъ.

Спутникъ обидѣлся и началъ объяснять:

— Босяки — это пропащіе люди, которые совѣсть пропили, а я другого сорту человѣкъ. Я, братецъ, мартышка. Своимъ трудомъ живу.

— Не велика разница...

— Нѣтъ. Какъ можно? Что босякъ, а что мартышка. Мы совѣсть имѣемъ...

Надо вамъ пояснить, какихъ людей на Волгѣ „мартышками“ называютъ.

Есть мелкая порода чаекъ. Птица эта держится около населенныхъ береговъ Волги, въ пунктахъ скопленія пароходовъ, судовыхъ каравановъ, плотовъ, баржей и питается разными отбросами, которыя съ нихъ

въ рѣку попадаютъ. Этихъ чаекъ на Волгѣ „мартышками“ называютъ.

Вотъ и люди такіе есть, по своему образу жизни, напоминающіе эту рѣчную птицу. Живутъ, какъ птицы небесныя. Кормятся благопріятнымъ случаемъ: то бревно отъ разбитаго плота выловитъ и продастъ, то унесенную водой лодочку перехватитъ, то на пристаняхъ грузить товаръ поможетъ, то вещи пассажиру донести, а когда „случая“ не подвертывается, то и стащитъ съ голодухи что-нибудь съ баржи или парохода: „конецъ“ буксира, якорекъ, боченокъ, развѣшанное для просушки на плотахъ бѣлье. Случается и доброе дѣло съ хорошей выгодой сдѣлать мартышкѣ: спасти утопающаго купца или барина. Типъ измельчавшей прежней „понизовой вольницы“. Зимой, когда Волга перестаетъ кормить, мартышка поступаетъ на тяжелую и грязную поденную работу, либо за украденный на базарѣ калачъ въ тюрьмѣ до весны отсиживается, — это у нихъ „дачей“ называется. Но какъ только весной запахнетъ, всѣ около береговъ. До поздней осени „мартышничаютъ“. Весной во время ледохода и половодья, какъ и поздней осенью, когда судоходные люди въ рѣчной горячкѣ пребываютъ, — мартышки и сыты, и пьяны: то баржу унесетъ, то дрова уплывутъ, то караванъ на мель напорется — надо товаръ спасать. Тутъ мартышка съ судового купца сразу двѣ шкуры сниметъ и гуляетъ, какъ глупый сынъ, получившій невпрокъ отцовское наслѣдство...

Пошли мы съ мартышкой по тропинкѣ въ гору, къ центру слободы, къ базарной площади. Туда всѣ дороги сходятся. Я несъ въ рукѣ охотничье ружье въ футлярѣ.

Подумалъ, — скрипка:

— А я тоже играть умѣю, а только не на скрипкѣ, а на гитарѣ...

— Да это ружье, а не скрипка.

— Давай сюда!

Вырвалъ изъ рукъ.

— Значитъ, охотникъ? — спросилъ радостно и перешелъ на „ты“.

— Охотникъ.

— Я съ тобой буду за охотой ходить. Я тутъ всѣ мѣста хорошо знаю. А время теперь тихое: нашему брату дѣлать нечего. Безъ работы около Волги тремся. Ты, какъ видимо, собаки не имѣешь?

— Не имѣю.

— И не надо! Я тебѣ лучше собаки удружу. А надолго къ намъ прибылъ?

— Какъ поживется. Если охота хорошая, поживу...

— У насъ мѣста привольныя! Вся птица со всей Рассеи мимо насъ пролетаетъ теперь! Кабы у меня ружье было, я королемъ-бы жилъ.

Теперь намъ обоимъ ясно, кто я такой и зачѣмъ прибылъ. Я охотникъ и пріѣхалъ въ эти привольныя мѣста поохотиться.

А звать тебя какъ?

— Евгеній Николаичъ.

— У насъ Евлентіемъ Миколаичемъ доктора коровьяго зовутъ.

— А тебя?

— Меня? Меня — Иваномъ... Васильичемъ. А больше Ваней зовутъ. Зови Ваней и больше никакихъ. Я тебя у нашей просвирни устрою. Женщина обходительная. Только благородныхъ къ себѣ на квартиру пущаетъ. У ней чистота и лѣпота: ни блохъ, ни клопа, ни таракана, окошечки въ садочекъ. Ну, и сама — пріятно поглядѣть. Между дѣломъ тебѣ скажу: у насъ баба и дѣвка — первый сортъ, второй номеръ! Крупчатка!

— Да, это ты вѣрно говоришь: Видѣлъ я разъ на вашихъ пристаняхъ дѣвушку, которая цвѣты продавала,— дѣйствительно красавица. Нигдѣ больше такой не встрѣчалъ.

— Вотъ то-то я и сказываю. Чью это ты увидалъ?

Началъ выспрашивать примѣты и терялся въ догадкахъ.

— Я всѣхъ дѣвокъ здѣсь знаю.

Подмигнулъ и сталъ утѣшать:

— Найдемъ! Куда ей дѣться? Дѣвка не иголка, въ щель не завалится. Только по дружбѣ тебѣ скажу: поосторожнѣй надо къ этому дѣлу подходить. Бока не намяли-бы наши парни.

Такъ я попалъ къ просвирнѣ. Если въ теченіе трехъ дней не встрѣчу дѣвушки съ синимъ туманомъ въ глазахъ, — то уѣду. Шатался по слободѣ и приглядывался. Побывалъ въ обѣихъ церквахъ: въ одной за всенощной, въ другой — за обѣдней. Бродилъ по базару. Былъ на лужкѣ, гдѣ парни съ дѣвками сходятся хороводъ водить и позубоскалить. Все надѣялся...

Нигдѣ нѣтъ! Точно приснилась только.

Заходилъ Ваня и спрашивалъ:

— Ну, а когда-же на охоту?

Прямо не отвяжешься. Соблазнялъ какими-то заповѣдными мѣстами „за Волгой, куда охотники даже изъ Москвы пріѣзжаютъ“.

— Такія мѣста, что всю жизнь не забудешь. Кажній годъ пріѣзжать будешь.

Говорилъ про какого-то своего пріятеля, Михайлу Иваныча, который въ тѣхъ мѣстахъ баканщикомъ служитъ.

— У него въ землянкѣ и остановимся. Побольше патроновъ припасай! И потомъ выпивки заготовь, потому старикъ выпить не дуракъ и безъ этого дружбы не выйдетъ. Мѣста тѣ однимъ бариномъ сняты и Михайлу Ивинычу на охрану отъ вашего брата, блудящаго охотника, отданы. А угостишь винцомъ, — слова не скажетъ... Стрѣляй, сколько влѣзетъ. Еще и лодочку свою дастъ по озерамъ поплавать ..

Рѣшилъ поохотиться и уѣхать въ Казань.

— А далеко эти мѣста?

— На маякъ поѣдемъ. Какъ дома будемъ, если водочки захватишь достаточно. А дичи тамъ — прямо руками бери!

— А какъ поѣдемъ? Лодка есть?

— Лодку я имѣю. Развѣ можно мартышкѣ безъ собственной лодки? Мартышкѣ безъ лодки все равно, что птицѣ безъ крыльевъ. Течетъ маленько, ну да какъ-нибудь доѣдемъ. А вслучаѣ чего, — плавать умѣешь?

— Плохо плаваю

— Ну, все одно! На себѣ выволоку. Я, другъ, Волгу переплываю. Я не мало на своемъ вѣку утопающихъ выволокъ. Да и погодка устоялась: Волга — какъ стеклышко!

И вотъ, соблазненный заповѣдными мѣстами, я согласился поѣхать съ Ваней на маякъ, къ Михайлу Иванычу. На другой день подъ вечеръ мы погрузились въ Ванину лодку и поплыли вверхъ по Волгѣ...

Лодка старенькая, вся въ засмоленныхъ заплатахъ, на днѣ вода бултыхается, въ бортахъ щели, заткнутые паклей, — черезъ нихъ вода ручейками сочится.

— А ты покуда нечего дѣлать, вычерпывай воду-то! Подъ кормой у тебя черпакъ долженъ быть. Да ты не бойся, что вода-то бѣжитъ. Со мной не пропадешь.

Ваня на веслахъ. Только скрипъ несется, точно на подмазанной телѣгѣ ѣдемъ, а я черпакомъ неустанно работаю, и все кажется, что вода не убавляется...

— Не убавляется вода-то...

— А пущай ее, только-бы не прибавлялась — и то хорошо.

Румянится и золотится ласковый августовскій вечеръ на тихой водѣ. Уплываетъ гора, съ выглядывающими изъ садовъ домиками, съ двумя колокольнями, съ вѣтрянками, какъ руками намъ своими крыльями машущими. Чайки бѣлыя лѣниво къ пескамъ золотыхъ отмелей тянутся. Гдѣ-то легкій пароходъ тревожно и то-

ропливо колесами стучитъ, а еще невидно его: за излучаной прячется. Побаиваюсь я этой встрѣчи: волной не захлестнуло-бы! — а тутъ еще и буксирный „Богатырь“ догоняетъ. Между двухъ огней! А Ваня весла на вѣсу держитъ и точно самъ норовитъ подъ буксирный пароходъ попасть. Крикнулъ Ванѣ про грозящую опасность, онъ ноль вниманія. Пароходъ пугнулъ насъ свисткомъ. Я сжался отъ страха. А Ваня, вмѣсто того, чтобы посторониться, ухватился покрѣпче за весла и давай ими изо всей моченьки работать: прямо подъ пароходное колесо жаритъ носомъ! Съ парохода капитанская ругань въ рупоръ, густая такая и гулкая, летитъ. Горбатая пѣнистая волна подхватываетъ лодку и отшибаетъ, а Ваня жару веслами поддаетъ и кричитъ мнѣ:

— Багоръ брось! багоръ!

Бросилъ ему багоръ, а у самого душа въ пяткахъ: ну, думаю, сейчасъ въ водѣ будемъ...

А наша лодка уже бортомъ о баржу трется и воду черпаетъ. Проходитъ страшный моментъ. Ваня весело смѣется и ругается. Багромъ къ баржевому рулю причалился и мы точно за хвостъ великана-рыбы уцѣпились. Только носъ лодки все норовитъ выше задраться да вода, какъ стекло, звенитъ...

— Ну, а теперь и прикурить можно. Ну-ка, брось папиросочку!

Бросилъ весла, покуриваетъ, шутитъ:

— Когда бы мы доѣхали? А теперь, какъ „Богатыря“ впрягли, черезъ полчаса на мѣстѣ будемъ. Сила! Своей лошади нѣтъ, чужую впрягли... А здорово капитанъ ругается! Этакъ и я не умѣю. Тоже придумать надо! Ему не жалко, а боится непріятностей: безъ умѣнья, конечно, подъ пароходъ попасть можно. Случается съ дураками. А онъ отвѣчать долженъ...

Спустя полчаса оторвались отъ баржи, покачались на волнахъ и перерѣзать Волгу начали. На томъ берегу, подъ лѣскомъ, — песчаный бугоръ, землянка съ

высокой мачтой, а на перекладинѣ — черные шары: глубину показываютъ. Пока добрались до берега, на мачтѣ фонарь загорѣлся, какъ глазъ окровавленный, въ синюю мглу вечернихъ сумерекъ уставился немигаючи. У берега лодки, бредень на шестахъ сушится, рыбачьи морды пирамидками высятся. Старикъ въ красной кумачевой рубахѣ, коренастый и бородатый, на насъ смотритъ, машетъ рукой и сердито кричитъ:

— Лѣвѣй забирай! На мель влѣзете! Никакъ Ваня?

— Я! Съ бариномъ, со своимъ пріятелемъ. Къ тебѣ, Михайло Иванычъ, поохотиться...

— Что же, можно... А водченки прихватили?

— Имѣемъ!

— Добро пожаловать!

Старикъ подошелъ къ берегу, помогъ намъ разгрузиться и выволочь лодку на берегъ. Посмѣялся:

— Ну, и посудинка! На ней можно и на тотъ свѣтъ проѣхать.

— Очень даже просто! Ну, да съ бариномъ и то не страшно: рай-то для господъ уготованъ, а, глядишь, и я за него уцѣплюсь и въ райскія ворота пролѣзу...

Поздоровались. Познакомились. Про утокъ заговорили:

— Летаютъ! Цѣлыми караванами къ озерамъ тянутся, вродѣ какъ буксирные пароходы съ баржами... Вчерась Полянка пару хорошихъ утятъ въ камышахъ подоломъ накрыла! Ей-Господи! Безъ ружья! Купаться стала, а утята прямо подъ подолъ...

Старикъ пошелъ къ землянкѣ, а мы возились съ вещами.

— Про какую это полянку старикъ разсказывалъ?

— Дочка у него.

— Никогда такого имени не слыхалъ.

— Ну, по вашему — Поля, Палагея, значитъ, Михайловна. Шустрая дѣвка. Они, вѣдь, изъ кулугуровъ. Безъ попа обходятся...

Ваня сталъ врать всякую всячину про кулугуровъ: у нихъ за срамъ не почитается, если дѣвка съ парнемъ милуется. Помилуется съ однимъ, броситъ и сызнова, съ другимъ. А ребятишекъ отъ этого баловства никогда не бываетъ. А почему? Цѣловаться-миловаться— сколь угодно, ну, а покуда не мужъ, воли настоящей не дается. Хотя во садахъ-садочкахъ въ обнимку спятъ, а грѣха настоящаго не случается. Свой, значитъ, законъ. И такъ у нихъ: не парень дѣвку, а дѣвка парня выбираетъ. Покуда дѣвка не выбрала дружка, за ней табуномъ парни ходятъ, ну, а выбрала, — всѣ прочіе любители — въ сторону! Если отставку выбранному дастъ, тогда опять — табуномъ! Свой законъ... Эхъ, дружокъ! когда-то и я въ табунахъ ходилъ. Было времячко.

— Выбирали дѣвки?

— Было разъ дѣло. Только единожды и было. Кабы въ калугулы перешелъ, можетъ, теперь не мартышкой жилъ бы, а своимъ домкомъ, своимъ хозяйствомъ.. И ребятишекъ имѣлъ бы! Только не хотѣлъ отъ своей православной вѣры отступиться... Было. Сперва-то согласился, а потомъ раздумье взяло. Какъ на дѣвку своего Бога промѣнять?

— Да, вѣдь, всѣ мы подъ однимъ Богомъ ходимъ, Ваня!

— Такъ-то оно такъ, только все-таки совѣсть не дозволила. Конечно, всѣ подъ однимъ Богомъ ходимъ, изъ земли родимся въ землю превратимся, а только въ церкви меня крестили, хочу, чтобы и отпѣли тамъ же. А у нихъ вродѣ, какъ пляшутъ на похоронахъ-то,..

— Врешь все..

— Грѣшный я человѣкъ и даже такъ надо сказать: голый человѣкъ, мартышка. Что я за душой имѣю? Только свою вѣру. Продамъ вѣру, какъ же тогда человѣкомъ-то буду? Животная! Что ты, что боровъ подъ заборомъ или кобель бродячій безъ хозяина. Да... А

дѣвка была — прямо тузъ козырной! Бардадымъ! Не хуже, пожалуй, и Полянки.

— А развѣ она...

— У! Тоже Бардадымъ.

— И табуны за ней ходятъ?

Ваня подмигнулъ и усмѣхнулся:

— А ты что, въ табунѣ походить захотѣлъ? Опоздалъ, дружокъ. Раньше тебѣ надо было къ намъ пріѣхать. Къ Пасхѣ надо было. Тогда за ней ходили...

— А теперь?

— Теперь кончилось. Выбрала.

— Красивый парень?

— Только и всего, что мастеръ на гармоніи играть! Первый, можно сказать, гармонистъ у насъ. И польки, и мазурки, и маршъ всякій. А ужъ „Матаню“ зажариваетъ, — всѣ косточки ходуномъ ходятъ. Съ такими трелями зажариваетъ, — прямо даже и душа въ человѣкѣ пляшетъ отъ веселья. Ну, а рожей не вышелъ. Называетъ она его Васильком ъ — а по настоящему ему самое подходящее званіе „Васька — курносая балалайка“! Полагаю, что только за музыку тутъ выборъ, а не за рожу...

Смеркалось. Нахмурились на той сторонѣ Волги горы. Пропали румянцы въ облакахъ и на рѣкѣ. Позеленѣли небеса на горизонтѣ. Робкіе огоньки стали вскакивать то тамъ, то сямъ, на рѣкѣ и на берегахъ. Пошли на маякъ.

Старикъ хлопоталъ у столика, передъ землянкой. Золотился еще въ синихъ сумеркахъ и клокоталъ паркомъ самоварчикъ на столѣ. Скатерка полосатая. Ароматный ржаной хлѣбъ. Сахаръ въ жестянкѣ. Чашки съ розами. Вообще — парадно.

— Самъ хозяйничаешь? А гдѣ Полянка-то твоя?

— Поѣхала баканы зажигать. Замѣсто меня она теперь это дѣло справляетъ. Помощница, значитъ, есть. Можетъ, стерлядки привезетъ: наказалъ подпуска на

ночь новымъ червякомъ обрядить. Безъ ужина не лягимъ, братцы!

Пили чай и тихо бесѣдовали на охотничьи темы. Вотъ въ тишинѣ надвигавшейся ночи послышался всплескъ веселъ. Вдоль берега кралась лодка-косоушка съ мигающимъ огонькомъ.

Легка на поминѣ!

Старикъ пошелъ встрѣтить лодку и мы остались наединѣ съ Ваней.

Ваня порылся въ своемъ мѣшкѣ и вытащилъ плошку, двѣ деревянныхъ крашенныхъ ложки и ножъ.

— Это ты зачѣмъ?

— А чтобы посуду имъ не поганить. Я ихъ законы хорошо знаю. Мы для нихъ — люди нечистые. Что православный человѣкъ, что кобель изъ ихъ посудины похлебаетъ, все единственно. Вотъ эти чашечки-то съ цвѣточками — поганыя ужъ, вотъ насъ и поятъ изъ нихъ. И среди нихъ законъ-то этотъ слабѣетъ ужъ. Вонъ Полянка на сторонѣ поганится, а при отцѣ соблюдаетъ себя... Идутъ!

— И на уху, и на жареху хватитъ! Ну, дочка, постарайся для гостей-то!

Въ синей рубахѣ, сырой отъ воды и липнувшей къ тѣлу, съ фонаремъ въ рукѣ, промелькнула мимо меня, какъ дикая птица, стройная и гибкая фигура дѣвушки. Лица ея я не успѣлъ схватить: оно пряталось подъ накинутымъ на голову платочкомъ. Чуть только выглядывалъ въ профиль задорный носикъ да обрисовалась линія полураскрытыхъ капризныхъ губъ. Но сразу вспыхнула какъ огонь, тревога въ душѣ и тѣлѣ: о н а, о н а, та самая, которая продала мнѣ на пристани ландыши съ незабудками!

Однако никакой увѣренности въ этомъ еще не было. Возможно, что и померещилось въ сумеркахъ. Стало мучить сомнѣніе и желаніе поскорѣе убѣдиться въ своемъ предчувствіи... А Полянка скрылась въ зем-

лянкѣ и долго не появлялась. Я потерялъ терпѣніе. Скорѣе узнать правду!

Чтобы отвести глаза людямъ, я сперва побрелъ къ берегу, а потомъ сталъ бродить, стараясь приблизиться къ землянкѣ. Мимолетно заглянулъ въ свѣтящееся оконце. Лицо дѣвушки ярко нарисовалось въ трепещущемъ отсвѣтѣ огня изъ печки, и я снова одурѣлъ отъ радости: о н а, о н а! Больше никакихъ сомнѣній!

Она словно почувствовала соглядатая: выпрямилась и тревожно метнула глазами въ окно. Конечно, она меня не узнала да и не узнаетъ. Вѣроятно, и не помнитъ о томъ, какъ продавала мнѣ ландыши съ незабудками.

Не выдержалъ: вздумалъ попросить водицы. Шагнулъ въ раскрытую дверь:

— Можно тутъ напиться?

— Да, вѣдь, чайку попьешь...

— Пилъ, а все-таки жажда. Воды хочется.

— Вонъ на лавкѣ ведро. Только все ведро не выпей. Оставь маленько!

Подала ковшъ, покосилась, отошла и говоритъ:

— А, вѣдь, я тебя гдѣ-то видала!

Я отъ радости подавился водой. Она хохочетъ. Напомнилъ про ландыши съ незабудками...

— А и вѣрно такъ! Вспомнила. Ты что же къ намъ пріѣхалъ? По какимъ дѣламъ?

— Тебя искать. Видно, твои ландыши съ незабудками наговорные были...

— Наскажешь!

— Не вѣришь?

— Вѣрю—вѣрю всякому звѣрю: и волку, и ежу, а тебѣ погожу.

Напились чаю, поѣли вкусной ухи. Полянка намъ прислуживала. Я старался встрѣтиться съ ней глазами, но она не смотрѣла, а только поулыбывалась. Потомъ надо было спать укладываться: завтра чуть-свѣтъ на

охоту. Старикъ уже залегъ подъ пологъ, за землянкой: тамъ высокій настилъ изъ досокъ, какъ палатка. Тамъ же, подъ пологомъ, и Полянка спитъ, но пока она еще тутъ, у стола, при фонарѣ посуду прибираетъ. А мы съ Ваней около нея зубы скалимъ. Безъ отца она посмѣлѣе ведетъ себя. Нѣтъ-нѣтъ да и встрѣтитъ синимъ туманомъ глазъ своихъ. Нельзя сказать, что — красавица, а вотъ поди же! Тянетъ къ себѣ и душу и тѣло... На лицѣ ея и въ каждомъ движеніи — радость жизни, жадная такая радость въ глазахъ туманится и въ смѣхѣ брыжжетъ, и на губахъ улыбочкой играетъ. Улыбнется, хлебнетъ радости и язычкомъ губы облизываетъ! Все бы смотрѣлъ, какъ она свою улыбку язычкомъ подлизываетъ, а волосы русые подъ платочекъ пальчиками подтыкаетъ. Странно, что рука-то у ней не деревенская, не грубая, и не грязная, какъ у большинства деревенскихъ бабъ и дѣвокъ.

— Ну, я управилась. Спать побѣгу...

Исчезла.

Опустилась надъ Волгой ночь безлунная, синяя и звѣздная. Тихо тихо. Только лѣнивая сонная волна въ песчаную отмель поплескиваетъ, точно ручейки бѣгутъ по камешкамъ. Дышетъ могучая рѣка богатырскимъ дыханіемъ. Около лодокъ — стеклянная музыка. На озерахъ коростели скрипятъ, лягушки тренькаютъ. Тьма синяя луговыми травами и цвѣтами напоена. То медкомъ гречушнымъ сладкимъ, то полынь-травой горькой, то мятой душистой наноситъ съ вѣтеркомъ ласковымъ.. А то вдругъ дымкомъ или смолой пахнетъ. Пробѣжитъ пароходъ, сверкая множествомъ окошечекъ маленькихъ и унося на кожухахъ красный и зеленый огни сигнальные, а на высокой мачтѣ звѣзду синеватую, взбудоражитъ минутъ на пять Волгу, — и снова тишина, всплески, вздохи водяные, коростели, лягушки, комары...

Не спится отъ радостной тревоги...

Только прикурнулъ маленько, только сонъ сладо-

стный сниться началъ, какъ вздрогнулъ отъ испуга: Ваня за руку потянулъ.

— Вставать надо. На охоту! Скоро утки полетятъ...

Не хочется вставать.

— Искупайся! Сразу одурь-то сонную смоетъ. Свѣтаетъ. Полянка тушить баканы поплыла ужъ!

Полянка!

И сонъ убѣжалъ. Я поднялся и встряхнулся. Было слышно въ предразсвѣтномъ молчаніи, какъ хлопали по сонной водѣ весла и скрипѣли уключины Полянкиной лодки. Пѣтухи далеко перекликаются.

— Надо идти... Зорька загорѣлась утренняя.

Заволжскія озера — какъ огромные зеркала въ малаховитой оправѣ изъ ветелъ, ивняка, камышей и осоки. Мѣстами камыши выше роста человѣческаго. Бархатныя шишки точно въ обезьяней шкуркѣ. На водѣ — бѣлоснѣжныя болотныя лиліи съ золотыми глазками въ темно-зеленомъ окруженіи лопастыхъ листьевъ. Царевны въ зеленыхъ бархатныхъ мантіяхъ! А около нихъ свита придворная изъ фрейлинъ, въ золотыхъ платьяхъ: кувшинки желтыя. А кругомъ — легкія ковры изъ ряски, кружева изъ тины...

Вотъ оно, прекрасное царство русалокъ, водяницъ и водяныхъ!

Между озерами — узенькія тропочки, охотниками протоптанныя. Лабиринтъ, въ которомъ такъ легко заплутаться. Заберешься такими тропинками въ дремучій лѣсъ камышей, спутаешь тропинки, начнетъ нечистая сила кружить. Кое гдѣ на островкахъ — шалашики забытые и зола и угольки отъ костровъ отгорѣвшихъ: рыбаки или охотники ночевали.

Оказалось, что съ Ваней дѣйствительно ненужно собаки. Самъ не стрѣляетъ, а страсть у него и способности прямо, какъ у породистаго лягаша. Готовъ и на брюхѣ ползать, и въ камышахъ плавать, даже нюхъ у него собачій. Привстанетъ, оглядится по сторонамъ, но-

сомъ поведетъ и, присѣвъ, потянетъ. Сдѣлаетъ нѣсколько таговъ, оглянется, пальцемъ погрозитъ и на четвереньки! Если сядетъ — это у него — стойка...

Не хуже дрессированнаго пса мой Ваня, а толку не вышло. Опоздали мы съ Ваней. Пришли на мѣсто, когда уже солнышко поднялось и утки, вернувшись съ полей, по своимъ тайникамъ успѣли разсѣсться. Безъ ботника теперь уже ничего не сдѣлаешь. Утка выбираетъ такія мѣстечки для своего дневного сокрытія, къ которымъ безъ шума никакъ не подберешься. Въ другой разъ и близокъ локоть да не укусишь. Только на зорькѣ утренней и вечерней, во время перелетовъ, и безъ ботника можно досыта пострѣлять. А какъ взойдетъ или скроется солнце, — ни чѣмъ утку изъ камышей не поднимешь. Слышно, какъ тихо покрякиваютъ, а пойдешь, — уплываютъ. Не поднимаются, а по водѣ удираютъ отъ опасности.

Измокъ и, какъ песъ въ лихорадкѣ, трясся Ваня, странствуя по камышамъ. Плавалъ, ругался, пугалъ свистомъ, — не вылетаютъ...

Надо-бы ужъ до вечерней зори остаться, до перелета, да оба измучались, вымокли и впали въ апатію. А меня еще и на маякъ потягивало, къ Полянкѣ...

— Безъ ботника не стоитъ и мокнуть! Идемъ-ка къ дому, чайку попить, водченкой погрѣться... Брр!

Уже спряталось за горами солнышко, когда мы дотащились до маяка. Волга горѣла закатными огнями. Въ розоватомъ туманѣ, какъ призракъ, плыла отъ берега въ лодкѣ дѣвушка, взмахивая веслами. Пламенемъ горѣлъ на ея головѣ красный платокъ и синѣла рубаха. Съ поднимаемыхъ веселъ, сверкая алмазами, прыгали въ воду тяжелыя капли...

— Баканы поплыла зажигать... А хороша, Миколаичъ, дѣвка-то? Прямо Бардадымъ! Только, братецъ, и хороша Паша, да не наша!

Землянка оказалась запертой, а въ землянкѣ — все

наше достояніе, а главное: водка. И погрѣться нечѣмъ. Михайлы Иваныча невидно. Пришлось долго жаться отъ холода въ мокрой одеждѣ, поджидая возвращенія Полянки.

Наконецъ вернулась Полянка. Узнавъ о нашей неудачѣ подняла насъ на смѣхъ:

— Я позавчерась подоломъ накрыла двухъ утятъ, а вы охотники!

— Задрогли. И жрать хочется... Пускай поскорѣе въ землянку!

— Эхъ, горе-охотнички!...

Полянка затопила печь. Самоварчикъ поставила. На столъ стала собирать. Спросили про отца:

— Водяной баринъ пріѣхалъ, перекатъ обмѣривать. Сердитый какъ чертъ!

— А что случилось?

— Буксирный двѣ баржи на мель посадилъ. Баканъ озорники сорвали, уплылъ онъ, а ночью дуракъ-капитанъ и напоролся на мель на перекатѣ-то нашемъ.

Ваня насторожился:

— Хорошее дѣло! Для нашего брата работенка будетъ! Это, какъ говорится, кому горе, а кому смѣхъ. Завтра мнѣ надо туда поспѣшить... Видно, безъ меня ужъ поохотишься завтра... А я, какъ только дѣло обдѣлаю, опять пріѣду за тобой...

— А ты, Полянка, меня не прогонишь?

— А мнѣ что тебя гнать? Ты меня не укусишь.

Полянка накормила насъ жареной рыбой. Мы съ устатка выпили и размякли отъ теплоты и блаженства. Ваня былъ въ радостномъ настроеніи: прибыльное несчастье на перекатѣ случилось. Пароходъ торопится въ Нижній, на ярмарку товаръ тянетъ, каждый день на мели большіе убытки купцамъ. Значитъ, хорошая пожива для мартышки.

Полянка встревожена, боится непріятностей для отца-баканщика. Поэтому и ссора у нихъ вышла.

— У людей несчастье, а онъ радъ. Мартышка и есть!

Ваня обидѣлся и началъ доказывать, что всегда на свѣтѣ такъ бываетъ: для одного — счастье, стало быть для другого — несчастье. И примѣръ привелъ:

— Вотъ за тобой никакъ пятеро парней бѣгали, а ты выбрала одного, и сталъ тотъ одинъ — счастливый, а остальные — тоскуютъ и несчастными черезъ Ваську-гармониста сдѣлались!

А чтобы посильнѣе свои доводы закрѣпить, Ваня и еще надбавилъ:

— И добро-бы твой Васька красавчикомъ былъ! А то прямо курносая балалайка!..

Загорѣлась дѣвушка сердцемъ, сверкнула огонькомъ глазъ и съ гордостью обиду обидой отразила:

— Вонъ у тебя замѣсто носа-то руль навѣсной, а поди тоже была дура, которая тебя любила?

— Была!

— Не по хорошему милъ, а по милу хорошъ!

— Такъ, вѣдь, это теперь у меня носъ испортился, по пьяному дѣлу разбилъ, а раньше... Когда я помоложе былъ, такъ...

— Подлиннѣе, что-ли, былъ? Ты и съ носу-то на мартышку смахиваешь. Ты поглядѣлъ-бы сперва въ зеркало на свою рожу...

— Что мнѣ глядѣться? Это дѣло бабье.

— Поглядишь, — самъ испугаешься.

Полянка засмѣялась недобрымъ смѣхомъ и вышла изъ землянки

Ваня притихъ. Чувствуетъ себя побѣжденнымъ. Покачалъ головой:

— Вонъ, вѣдь, она какая! Слова сказать не дастъ. Зря раздразнилъ ее Васькой-то. А я правду сказалъ: рожей-то надо-бы хуже, да ужъ некуда! Вотъ оно и вѣрно: любовь-то зла, придетъ время — полюбишь и козла!

Такъ и не вернулась Полянка въ землянку. Ушла спать подъ пологъ. Мы посидѣли маленько и тоже начали укладываться.

— Значитъ, завтра разлучаемся: я на перекатъ, ты — за утками. Вотъ что я тебѣ посовѣтую. У старика ботникъ есть, прячетъ онъ его въ камышахъ. Упроси ты Полю показать, гдѣ онъ спрятанъ. Безъ ботника ничего не выйдетъ...

Душно въ землянкѣ. Не спится. Вышелъ подъ небо. Брожу по берегу, похрустываю песочкомъ, а въ душѣ: и обида, и ревность, и зависть. Что случилось? Теперь ясно, что дѣло мое — безнадежное: она любитъ какого-то Ваську..

Хожу и потихоньку тоскливо напѣваю, жалуясь Волгѣ и звѣзднымъ небесамъ:

Не любить—загубить значитъ жизнь младую...

Есть-ли на свѣтѣ несчастнѣе меня человѣкъ? Даже самому жаль себя!

Эхъ зачѣмъ ты измѣнила мнѣ,
Иль тебя я не любилъ!
За тебя, моя измѣнница,
Свою душу загубилъ...

Углубленный въ свою любовную кручину, незамѣтно для себя, приближаюсь къ лодкамъ и, поднявъ голову, вижу около нихъ Полянку. Даже испугался отъ неожиданности.

— Поля? Не спишь? Что тутъ...

— Прокаталажилась съ вами и забыла... А теперь ѣхать надо...

— Что случилось? Зачѣмъ и куда ѣхать?

— Подпуска обрядить... Вотъ поѣдемъ-ка со мной, помоги!

— Съ радостью!

Только въ юности случаются съ нами такія чудеса: превращеніе изъ несчастнаго въ счастливѣйшаго.

Усѣлись: она въ веслахъ, я — съ кормовымъ весломъ. Плывемъ въ отраженныхъ звѣздныхъ сіяніяхъ по теченію рѣки. Весла бездѣйствуютъ. Изрѣдка тронешь воду, чтобы выправить несомую лодку, и снова застынешь, завороженный волшебной красотой Волги. А тутъ еще такъ близко дѣвушка, по которой тоскуетъ душа оскорбленная: вѣдь, она любитъ не тебя, а другого...

— Ваня говорилъ, что у васъ ботникъ на озерахъ есть. Дай ты мнѣ его поохотиться!

— Безъ отца не смѣю. У насъ одинъ ботникъ украли ужъ...

— Я не воръ!

Дѣвушка засмѣялась и смутилась. Поняла, что неладно сказала:

— Я не про то, не про тебя. Прячетъ онъ теперь ботникъ и даже никому про него сказывать не велитъ...

— Ужъ если-бы я воромъ былъ, такъ не ботникъ, а тебя укралъ-бы!

— А зачѣмъ я тебѣ понадобилась?

— Люблю!

Засмѣялась:

— Вѣрю, вѣрю... всякому звѣрю, даже и ежу, а тебѣ, сударь, погожу!

— Съ того дня, какъ у тебя ландыши къ незабудками купилъ, душа покою не находитъ...

— Поздно ты хватился, паренекъ... Кабы слѣзъ тогда съ парохода, можетъ, и вышло-бы... Звали тогда тебя наши дѣвки, не послушался...

Посмѣивается, съ лукавымъ кокетствомъ.

— Правду, значитъ, Ваня сказалъ: другого любишь?

Сразу измѣнилась. Точно больно ей сдѣлалъ:

— А тебѣ не все равно?

— Значитъ не все равно, если пріѣхалъ въ Новодѣвичье тебя искать.

— Такъ я и повѣрила! Васъ не скоро узнаешь: больно вы всѣ прикидываться мастера. Сперва — лучше и на свѣтѣ нѣтъ, а потомъ приглянулась другая и изъ памяти вонъ!

Полянка пригорюнилась. Разбередилъ больное мѣсто. Заговорилъ, было, про Васю-гармониста, — разсердилась:

— Не распрашивай! И сама ничего не знаю. Когда милъ, а когда и глядѣть не охота.

Въ молчаніи доплыли до покачивающихся на водѣ поплавковъ и стали перебирать подпуска: я вытягивалъ и снималъ рыбу, а Полянка проворно смѣняла насадку и снова бросала бичевку въ воду. Прыгали въ лодкѣ, сверкая серебристой чешуей, подлещики, головли, судачки, метались красноперые окуни, змѣйками вились стерлядки, — все мелочь... Но вотъ рука почувствовала нѣчто сильное и тяжеловѣсное, и сердце застучало отъ радости и любопытства.

— Эге! Что-то попало хорошенькое...

Началась борьба. Вытащить крупную рыбину не такъ легко, какъ кажется. Нужны и опытъ и сноровка...

Метнулось что-то показавшееся огромнымъ. Точно русалку поймалъ!

— Сомъ! Сомъ это! — крикнула Полянка, бросаясь мнѣ на подмогу.

— Не тяни! Оборветъ! Дай ходу!

Полянка отняла у меня бичевку подпуска и начала „водить“ попавшуюся добычу. Надо ее сперва измучать, довести до усталости и покорности. Взорвется въ попыткѣ сорваться съ крючка, а Полянка отпуститъ бичевку. И такъ нѣсколько разъ.

— Давай наметку! Подводи помаленьку!

Бились съ полчаса, пока жертва притихла и покорно пошла къ лодкѣ. Я стоялъ съ наметкой на го-

товѣ. И тутъ случилось веселое несчастье. Когда сомъ показалъ уже свою широкую спину и я сталъ подводить подъ него наметку, — онъ сдѣлалъ отчаянную попытку освободиться и такъ взметнулся, что покачнулъ лодку! Наметка выскользнула изъ моихъ рукъ. Полянка метнулась за наметкой. Лодка снова качнулась и дѣвушка, потерявъ равновѣсіе, — бухнулась въ воду... Я совершенно растерялся, а она хохотала и бранилась. Конечно, мнѣ было уже не до сома, который спѣшилъ воспользоваться нашимъ несчастіемъ. Я горѣлъ жаждой самоотверженности: надо спасать милую дѣвушку!

— Не лѣзь! Не лѣзь! Не выпускай бичеву-то! Рохля!

Полянка подплыла къ кормѣ и, какъ кошка, вскарабкалась въ лодку. Мокрешенька. Все на ней облипло. Красный платочекъ уплылъ, распалась по спинѣ коса золотистая. Рубаха обрисовала всю грудь, руки, ноги. Точно недоконченная скульптура хорошаго мастера...

До сома-ли мнѣ было!

А она горѣла рыболовнымъ экстазомъ и ничего, кромѣ сома, знать не хотѣла.

Пришлось снова продѣлывать всю игру съ отдохнувшимъ сомомъ, и въ концѣ концовъ онъ все-таки попалъ къ намъ въ лодку...

Второй подпускъ не стали вытягивать. Полянка озябла: вода оказалась довольно холодной. Я намѣревался прикрыть Поляночку своимъ пиджакомъ, но она отмахнулась. Сѣла на весла и начала работать съ такой силой, что вода подъ носомъ лодки зазвенѣла, словно съ каждымъ взмахомъ веселъ сыпалось разбитое стекло.

Сомъ, аршина въ полтора, все еще буянилъ, и Полянка глушила его обухомъ топорика. Эта жестокость мнѣ не нравилась и я вступался за несчастнаго:

— Оставь его!

— Вишь, какой ты жалостливый! А ѣсть будешь?

Вернулись на маякъ. Хотя я въ водѣ не плавалъ, но тоже измокъ и прозябъ.

Прежде всего надо затопить печку и переодѣться. И чайку хорошо попить!

Такія происшествія сближаютъ людей. Мы теперь уже — пріятели, связанные только что постигшимъ насъ веселымъ несчастіемъ, отъ котораго такъ хочется обоимъ намъ смѣяться.

Печка уже потрескиваетъ пылающимъ сушнякомъ. Я не нагляжусь и на Полянку, и на сома, который, растянувшись на лавкѣ, все еще моментами вздрагиваетъ и глотаетъ воздухъ.

— Не гляди на меня: я сухую рубаху надѣну!. Отвернись! Или выйдь отсель!

— Я на сома погляжу...

— Это что! Въ прошломъ году мы вытянули съ отцомъ не такого еще! Полтора пуда въ немъ было. Еще обернешься, я тебя мокрой рубахой!

Переодѣлась. Въ синей рубахѣ съ бѣлыми рукавами... До того мила, что не оторвешься! Такъ хочется обнять крѣпко-крѣпко...

Самоваръ бурлитъ. Печка потрескиваетъ. Поляночка меня чаемъ поитъ. У насъ столько воспоминаній о только что пережитомъ! Можно подумать, что мы родственники по сому.

— Хочешь, уху изъ сомины сварю? Мнѣ что-то ѣсть захотѣлось...

Уже пѣтухи перекликались предразсвѣтные, а мы не расходились.

— Свѣтать хочетъ! Вотъ какъ: я и не замѣтила, акъ ночька прошла... Поди — ложись! А мнѣ ужъ все равно не спать: надо ѣхать — баканы тушить!

— И я не лягу. Я поѣду съ тобой огни на баканахъ тушить.

— Опять сковырнешь меня съ лодки въ воду?

— А когда отецъ пріѣдетъ?

— Такія дѣла, что не скоро вернется... Не раньше, какъ завтра, а то и позже... Когда водяной баринъ къ

намъ наѣзжаетъ, случается, что денъ пять съ нимъ возится.

— Ну, а ботникъ-то ты мнѣ дашь?

— Ужъ не знаю, какъ быть-то... Кабы знать, что отецъ не вернется завтра, можно-бы...

— Да, вѣдь, сама-же говоришь, что онъ—нескоро...

— А не ровенъ часъ вернется?

— Скажу, что самъ нашелъ и взялъ.

Поѣхали огни на баканахъ тушить. Это еще лучше, чѣмъ подпуска вынимать...

Разсвѣтъ на Волгѣ! Не опишешь этой красоты... Ну, а тутъ еще, рядомъ, и эта милая душѣ дѣвушка... На баканѣ огонь потушимъ, а онъ загорится въ моей душѣ. Всѣ огни на баканахъ погасли, а душа вся въ пламени. И солнышко всплыло изъ-за горъ и въ розовомъ и въ золотомъ пожарѣ и вода, и земля, и небо. Радость бытія играетъ и въ душѣ, и въ тѣлѣ, какъ плещущаяся рыба. Боже, какъ хорошо жить на свѣтѣ!

Эхъ, Поляночка! Если-бы ты откликнулась на мою радость!..

Пообѣщала завтра пойти со мной на озера и показать, гдѣ спрятанъ ботникъ. А безъ ботника тамъ и дѣлать нечего. Да и не хочется уходить. Весь день болтался около Полянки. Помогалъ чистить рыбу, чинить бредень, красить сурикомъ поплавки для подпусковъ.

— Работящій ты парень, какъ погляжу...

— Для тебя стараюсь.

— Я тебя не нанимала...

— Да я недорого возьму: разъ поцѣловать — съ меня и довольно...

— Можетъ, еще и сдачи дашь? За одинъ мой сколько дашь?

— Ты меня поцѣлуешь разъ, а я десять сдачи дамъ...

Такъ и проболтался до вечера.

Закатывалось солнышко. Начался перелетъ: утки вереницами потянулись съ полей на озера.

— Что сидишь около меня, какъ пришитый? Утки надъ головой летаютъ, а ты на меня глядишь! Ну, и охотникъ!

— Вѣрно. Надо на зорькѣ посидѣть...

Взялъ ружье и лѣниво побрелъ къ тальникамъ. Не хотѣлось далеко уходить. На душѣ все росло радостное безпокойство и было не до утокъ. Богъ съ ними, пускай летаютъ!

Погасла послѣдняя пунцовая полосочка на небѣ. Затрещали коростели въ лугахъ, затренькали лягушки на озерахъ. Таинственный мракъ начиналъ окутывать землю. Налетѣла утиная стая, — послалъ въ догонку два заряда. Одна упала въ тальникахъ. Долго бродилъ. Развѣ найдешь безъ собаки? Тальники выше роста человѣческаго... Тишина ночная подкралась незамѣтно. Звѣзды затеплились въ вышинѣ. Подъ берегомъ шлепала веслами невидимая лодка. Подумалъ, что это Михайло Иванычъ возвращается на маякъ. Продрался къ водѣ: нѣтъ, не онъ. А плыветъ къ маяку. Вскинулъ ружье за плечи и тихо пошелъ на стоянку. Трудно по пескамъ: ноги вязнутъ, тальники вяжутъ ихъ. Вонъ огонекъ въ землянкѣ зазолотился! — пошелъ проворнѣе...

Совершенно стемнѣло, когда я, подойдя къ землянкѣ, заглянулъ въ окошечко... Жгучая ревность опалила душу: въ землянкѣ сидѣлъ курносый парень съ гармоніей! Было такое чувство, будто Полянка любила уже меня, а теперь измѣнила съ этимъ курносымъ парнемъ. Конечно, это тотъ самый Васька, про котораго говорилъ Ваня.

Прислушался: ссорятся... Полянка около печки, отираетъ рукавомъ слезу. Парень — у стола, на его самодовольной мордѣ — глупая улыбочка. Вошелъ, прикинувшись, что ничего не видѣлъ и не слышалъ:

— А, да тутъ гость! Извините пожалуйста...

Сдѣлалъ движеніе къ выходу. Полянка остановила:

— Присаживайся и ты гостемъ будешь!

— А я вамъ не помѣшаю?

— А чѣмъ ты можешь помѣшать?

Курносый парень покосился на меня враждебно и прогнусѣлъ:

— Панимаемъ, панимаемъ теперя! Все панимаемъ, Палагея Михайловна!

— Ты догадливый!

— Вотъ оно въ чемъ дѣло-то!

— А ежели-бы и такъ, какое тебѣ дѣло, если ты съ другой дѣвкой гуляешь? Теперь я — вольная... Вотъ на! погляди!

Не успѣлъ я опомниться, какъ Полянка обвила мою шею рукой и поцѣловала...

— Вотъ какъ?

— Да. Этакъ! Разъ Маньку во ржахъ цѣлуешь, — я вольная! Отдай мое колечко!

— Не отдамъ. Пущай насъ дѣвки разсудятъ!

Страшно смущенный неожиданнымъ поцѣлуемъ дѣвушки и понимая, что въ этомъ случайномъ поцѣлуѣ — только мщеніе курносому парню, я взялъ положенное на лавку ружье, чтобы выйти и не мѣшать острому объясненію интимнаго характера. А курносый парень, видимо, принялъ мой жестъ за угрозу оружіемъ и, торопливо стянувъ съ пальца колечко, бросилъ его въ лицо дѣвушки.

— Получите! Не нуждаемся! — прогнусѣлъ онъ и вышелъ раньше меня изъ землянки.

Онъ лихо, по разбойничьи, свиснулъ и заигралъ на гармошкѣ удалую „Матаню“, подпѣвая:

Коли бросишь ты меня,
Я не затаскую:
Дѣвокъ много въ слободѣ,
Выберу другую!

Полянка выбѣжала за дверь и крикнула въ темную ночь:

— Ну, и чертъ съ тобой, курносая балалайка!

Вернулась, подсѣла къ столу и, уронивъ голову на руки, залилась горючими слезами...

Все это случилось такъ быстро и неожиданно, что я не сумѣлъ найти себѣ мѣста въ этой любовной исторіи. На лицѣ моемъ еще горѣлъ поцѣлуй дѣвушки... Моя шея еще чувствовала ея горячую руку. Что это? Неужели — съ одной досады? Не можетъ-же прійти любовь въ одну минуту! А развѣ не такъ было со мной, когда я впервые увидѣлъ на пристани дѣвушку съ ландышами и незабудками? Но тогда о чемъ-же она проливаетъ горькія слезы? Ничего не поймешь.

Я подошелъ, погладилъ опущенную головку, склонился и поцѣловалъ Полянку въ горячую пылающую огнемъ щеку.

Не протестуетъ. Шепчетъ:

— Спасибо, что заступился, колечко отнялъ...

— О чемъ плачешь, если не любишь больше его?

— Обидно. Что я, хуже Маньки, что-ли?

— Ты самая красивая изъ всѣхъ дѣвушекъ, которыхъ я видѣлъ въ жизни...

— Ладно ужъ... какая есть... Уходи теперь... Спать пора.

Посмотрѣла сквозь слезы и улыбнулась.

— Ну-же, уходи, что-ли!

— А за колечко еще одинъ разъ поцѣлуешь?

— Вотъ прицѣпился...

Если Полянка поцѣловала меня, не спрашивая на то согласія, — развѣ я не могу сдѣлать такъ-же? Смѣлость города беретъ...

— Будетъ! Оставь! Да что это, право... Кто-то идетъ! Никакъ отецъ пріѣхалъ!

Охъ, ужъ эти отцы да матери! — зачѣмъ только они на свѣтѣ существуютъ?!

Михайлу Иваныча я побаивался, а потому моментально выпустилъ изъ объятій дѣвушку и выкинулся за дверь. Озираюсь, — никого нѣтъ. Тишина. Мерцаютъ далекія звѣзды. Поплескиваетъ въ отмели ласковая волна. А позади, въ землянкѣ, дѣвичій смѣхъ. Толкнулся въ дверь, — заперта.

— Отопри! Я ружье оставилъ...

Смѣется.

— Утромъ отдамъ. Иди спать подъ пологъ. Я здѣсь останусь.

— Я маленько посижу и уйду!

— Пусти козла въ огородъ, онъ... Пущай вѣтеркомъ тебя обдуетъ...

Я долго шатался около землянки. Завѣсила оконце. Огонекъ погасъ. Нѣсколько разъ налегалъ на дверь въ надеждѣ, что окажется незапертой. Я былъ пьянъ сладкимъ ядомъ любви. Потерялъ надежду и забрался на нары подъ пологъ, на сѣно. Не спалъ, но пребывалъ въ полусонной сладкой дремѣ, полный побѣдныхъ предчувствій. Очнулся, когда солнце уже сверкало по вершинамъ горъ и золотило воду, пески, облака. Проспалъ!

Полянка уже вернулась, потушивъ огни бакановъ, и на столѣ около землянки сверкалъ кипящій самоваръ. А вотъ и она. Смѣется:

— Отоспался? Прошла дурь то? Иди чай пить!

Золотое и румяное утро играетъ на дѣвичьемъ лицѣ съ синимъ туманомъ въ лукавыхъ глазахъ. Милая улыбочка шевелитъ красныя губы. Что-то случилось въ эту ночь. Чуетъ это душа. Радуется, сама не зная — чему.

— Отдай мнѣ колечко!

— А зачѣмъ оно тебѣ?

— Значитъ, — надо... Люблю.

— Вѣрю, вѣрю... всякому звѣрю, даже и ежу. А тебѣ погожу!

— А ботникъ покажешь?

— Ладно ужъ... Только отцу не сказывай! Сегодня на озера за раками пойду. Когда водяной баринъ пріѣзжаетъ, всегда подарочекъ ему отецъ дѣлаетъ. Раковъ очень любитъ. Надо заготовить на случай.

— Раковъ и я люблю.

— Ну, вотъ и пойдемъ. И ботникъ покажу.

Напились чаю, снарядились и пошли на озера. Я — съ ружьемъ, Полянка — съ рачнями. Душа трепетала отъ невѣдомой радости. Пила счастье бытія и восторга. Завела меня Полянка по тропочкамъ въ камышахъ въ тони озерныя, на узкій полуостровокъ. Тутъ былъ шалашъ: Михайло Иванычъ осенью перелетныхъ гусей сторожитъ, утками онъ пренебрегаетъ: утка заряда не стоитъ. Тутъ у него и ботникъ спрятанъ въ камышахъ да еще и на цѣпь желѣзную къ пню прикованъ.

— Я сперва рачни поставлю, а потомъ ты на ботникѣ за охотой поѣдешь!

— Поѣдемъ вмѣстѣ: я пособлю рачни ставить...

Стала дѣвушка ботникъ съ цѣпи снимать, замочекъ отпирать, а я позади... Легко ботникъ на цѣпь посадить, а какъ посадишь на цѣпь хмѣльную отраву молодой крови, бунтующей, какъ кипятокъ подъ огнемъ?

— А ты не балуй!

Сперва только поддавалась поцѣлуямъ, легко отстраняясь руками, а потомъ и сама опьянѣла...

Стыдливость — ангелъ хранитель дѣвичьей чистоты. Въ минуту опасности она зажигаетъ притупленный опьяненіемъ страсти свѣтъ разума: сильный толчекъ въ мою грудь и Полянка — на разстояніи... Красная, какъ распустившійся піонъ, взволнованная и враждебная...

— Смотри пожалуйста: сарафанъ изорвалъ, охальникъ! Какъ волкъ какой... Право!

— Прости! Больше не буду трогать...

— Знай край да не падай, миленькій!

Пошла прочь, оправляя сползшій платочекъ.

— Не уходи!

— Боюсь я тебя. Ты опять озорничать будешь.

— Поѣдемъ-же рачни-то ставить!

— Съ тобой опять искупаешься!

Задумалась: наловить раковъ надо.

— Ну, смотри! Баловать станешь, оба въ озерѣ будемъ!

Поѣхали рачни ставить. Конечно, я опять сталъ объясняться въ любви, просить колечко...

— Я съ ума еще не сошла. Тебѣ что? — сѣлъ на пароходъ и поминай, какъ звали...

— Я тебѣ клятву дамъ, что до гроба любить буду...

Конечно, я вѣрилъ своимъ клятвамъ. Развѣ въ юности мы не ощущаемъ въ себѣ гигантскихъ силъ, способныхъ преодолѣть всѣ жизненныя преграды? Что за бѣда, что я называюсь „сыномъ дворянина", а она — дочкой баканщика? Что за бѣда, что я — студентъ, а она кончила только земскую народную школу и пишетъ съ грамматическими ошибками? Развѣ въ жизни такъ важно знать, гдѣ пишется буква ять? Чепуха! Предразсудки.

— Я тебя поучу. Ты сдашь экзаменъ и сдѣлаешься сельской учительницей....

— А ты что думаешь? Вонъ у насъ учитель изъ крестьянъ вышелъ!

— Вотъ я и говорю!

— Смѣшной ты. Ты — баринъ. Какъ-же можно, чтобы...

— А ты барыней будешь!

Полянка засмѣялась и бросила въ меня камышевую бархатную шишку, сорванную мимолетно, когда мы продирались камышами.

— А ты откуда самъ-то?

— Самъ — Симбирскій, а учусь въ Казани.

— Я въ Симбирскѣ-то бывала. Тамъ мой дядя живетъ.

— Вотъ и отлично. Будущей весной пріѣзжай къ

своему дядѣ, я въ Симбирскѣ все лѣто проживу. Приходить стану вмѣсто учителя. Ты дѣвушка умная и смѣтливая, поспорить могу, что учительницей тебя сдѣлаю...

Молчитъ, но замѣтно волнуется. Это видно по опущеннымъ глазамъ, по вспыхивающимъ на щекахъ румянцамъ. Пока я фантазирую на тему, какъ она сдѣлается барыней, Полянка ощипываетъ листочки съ тальниковой вѣточки и слушаетъ...

Конечно, я и самъ вѣрю въ свои фантазіи: въ Казани есть учительская семинарія, въ которую принимаютъ исключительно крестьянскихъ дѣтей для подготовки въ учителя и учительницы. Разсказываю объ этомъ дѣвушкѣ.

Незамѣтно разставили всѣ рачни. Поплыли опять къ шалашу. Какъ-то странно присмирѣла дѣвушка, сдѣлалась серьезной и пугливой.

Вылѣзли на бережокъ. Она печально улыбнулась мнѣ:

— Ну, теперь поѣзжай за утками!

— А ты?

— Я домой побѣгу.

— А раки?

— Вечеркомъ надо прійти.

— Поѣдемъ за утками!

— Нѣтъ. Не могу. Развѣ можно бросить маякъ безъ человѣка?

Хотѣлось бросить и ботникъ и утокъ, — пойти назадъ съ Полянкой, но сдѣлать это было какъ-то стыдно, и я остался. Мы условились такъ: если Михайло Иванычъ вернется, она не придетъ сегодня. Рачни будетъ вынимать завтра. Если отецъ не вернется къ ночи, она, зажегши огни на баканахъ, придетъ на озера, и мы вмѣстѣ будемъ вынимать рачни. Надо захватить фонарь и ведро для раковъ.

Ушла. Грусть поползла въ душу. Такъ-бы и побѣжалъ въ догонку!

Лежалъ около шалаша и прислушивался къ шепотамъ камышей и осоки. Ласково пригрѣвало солнышко. Попискивали маленькія пичужки. Паутинки плавали въ воздухѣ. Озеро застыло въ молчаніи. Точно огромное зеркало, въ которомъ отражались голубыя небеса, съ бѣлыми облачками-барашками. Грусть и радость приступами охватывали душу. Я уже не сомнѣвался, что люблю Полянку такъ, какъ никогда и никого не любилъ еще... Случалось правда, влюбляться, и не разъ, а такого властнаго тяготѣнія къ женщинѣ еще не испытывалъ. Теперь къ любовной лирикѣ примѣшивалось неосознанное физическое влеченіе, пьянившее дурманомъ сладкаго грѣха...

Поэзія моей любви впервые замутилась соблазнами Райскаго Змія...

Такъ помогала этому окружающая обстановка: озера, камыши, молчаливое одиночество, какая-то первозданная тайна природы, въ которой растворялась культурная оболочка души и тѣла... и „человѣкъ“ ярко и властно начиналъ какъ-бы раздваиваться на мужчину и женщину... и это раздѣленіе побѣждало всѣ остальныя различія между людьми...

Впервые заговорилъ „грѣхъ прародительскій“, побѣждающій всѣ настроенныя нами перегородки между собою... и саму логику здраваго смысла...

Лежалъ около шалаша и думалъ о томъ, какое это было-бы счастіе—жениться на Полянкѣ и навсегда остаться вотъ здѣсь, около Волжскихъ озеръ, охотиться, вынимать подпуска, ловить раковъ, спать на сѣнѣ подъ пологомъ, послать къ черту всѣ науки, книги, галстуки и пиджаки!

Вспоминался Ж. Ж. Руссо, призывавшій къ возврату въ первобытность, въ которой похоронено человѣческое счастіе... На помощь логикѣ услужливо шло „народническое устремленіе“, призывавшее къ опрощенію.

Такъ до вечера и промечталъ, представляя себя женатымъ на Полянкѣ...

Не замѣтилъ, какъ упало за горы солнышко и только свистъ утиныхъ крыльевъ надъ головой заставилъ меня вспомнить о томъ, что я — охотникъ.

Забралъ ружье, погрузился со всѣми припасами въ ботничекъ, и тихо работая однимъ весломъ, поплылъ въ озерные камыши.

Прирожденная охотничья страсть пробудилась вдругъ въ душѣ моей и я временно освободился отъ чаръ любовныхъ. Первый удачный выстрѣлъ заглушилъ ихъ... Утки стаями кружились надъ, озеромъ опускались все ниже и кувыркались въ воду. Не успѣвалъ заряжать ружье! Не хватало времени отыскивать убитыхъ утокъ, упавшихъ далеко въ камышахъ... Наконецъ-то повезло!

Въ какой-нибудь часъ времени я взялъ восемь кряковныхъ да штукъ пять чирятъ. Не замѣтилъ, какъ стемнѣло...

Оглядѣлся и удивился: ночь подкралась!

Сразу вспомнилась Полянка и пропала радость удачной охоты. Вѣрно, она уже зажгла огни въ баканахъ и скоро придетъ...

Поплылъ безконечными коридорами въ камышахъ и заблудился. Камыши какъ лѣсъ. Гдѣ сѣверъ и гдѣ югъ? Куда не ткнешься, — стѣна камышей! Отчаяніе заползаетъ въ душу. Кажется, что никогда не выберешься изъ этого лабиринта, а такъ и погибнешь въ блужданіи... Проклиналъ камыши, охоту, убитыхъ утокъ. Можетъ быть, Полянка приходила, поискала и ушла?

Вотъ уже и звѣзды загораются въ небесахъ... Надъ озерами всплываетъ туманъ и отнимаетъ всякую надежду выбраться на берегъ. Точно въ безбрежномъ морѣ! А проплывешь двѣ-три минуты и носъ ботника зашуршитъ камышами... Некуда! Точно песъ на цѣпи...

И вдругъ тишину ночи прорѣзалъ звонкій дѣвичій голосъ:

— Эге!

Сердце встрепенулось и забило тревогу: она.

И совсѣмъ недалеко. Я откликнулся, но какъ не пытался найти выходъ изъ лабиринта, — это не удавалось. Перекликались, переговаривались, оба сердились. Надо было найти узкій проливчикъ и нырнуть въ него. Но этого проливчика не отыскивалось.

— Правь на фонарь!

Въ ночной тишинѣ послышались всплески воды: это Полянка шла болотомъ выручать меня. Скоро чрезъ камыши тускло въ туманѣ поплылъ желтый свѣтъ фонаря. Потомъ онъ точно вознесся надъ камышами и остановился.

— Видишь? Такъ прямо на огонь и плыви!

Сколько разъ я уже былъ около проливчика и не замѣчалъ его, а теперь точно пелена спала съ глазъ!

Выбрался...

Цѣлый градъ насмѣшекъ посыпался на мою голову, а потомъ еще попреки:

— Вымокла я изъ-за тебя по поясъ! Сковырнулась съ кочки... Мокрешенька!

Смѣялась и бранилась.

Спросилъ про отца: не пріѣхалъ; пріѣзжалъ за мной Ваня и уѣхалъ, — сказалъ, что пріѣдетъ завтра къ вечерку, ждать некогда; отецъ наказалъ ему раковъ для водяного барина завтра привести.

— Надо ждать, когда туманъ сползетъ... Кабы вѣтеръ подулъ, — прочистило-бы, а то до свѣта придется тутъ... Сейчасъ и рачней-то не найдешь...

— Что жъ дѣлать-то будемъ?

Конечно, я совѣтовалъ подождать, когда растаютъ туманы.

— Тебѣ хорошо, сухому-то!

— Костеръ зажжемъ, — обсохнешь...

— А ну, какъ насъ съ тобой накроютъ тутъ... охотники, либо рыбаки? Подумаютъ нехорошее. Тебѣ ничего: сѣлъ на пароходъ да уѣхалъ, а мнѣ-то каково будетъ?

— Да кто тутъ увидитъ? Водяной, что-ли?

Уговорилъ. Разожгли огромный костеръ. Полянка стала обсушиваться.

— Подь въ шалашъ и не гляди сюда!

Я повиновался: заползъ въ шалашъ и притихъ... Я изо всѣхъ силъ старался не смотрѣть въ ту сторону, гдѣ взметывался къ небесамъ вихревой костеръ. Я тихо напѣвалъ: „Мой костеръ въ туманѣ свѣтитъ, искры гаснутъ на лету“, но глаза не хотѣли мнѣ повиноваться, а шалашъ былъ старый и дырявый. Такъ, на одно мгновеніе проползешь взоромъ по камышевой покрышкѣ и въ ореолѣ свѣта обрисуется ожившая Галатея... въ мокрой рубашенкѣ... А потомъ... чуть не ослѣпъ отъ той красоты, которая впервые раскрылась предъ моими глазами въ образѣ живой, а не нарисованной нагой женщины...

На картинахъ и въ изваяніяхъ я видѣлъ нагую женщину, но это созерцаніе мертвой красоты, хотя и приковывало меня, иногда надолго, но всегда оставалось безгрѣшнымъ. Теперь та же красота въ живомъ образѣ точно обожгла меня физически... Я почувствовалъ, какъ горятъ мои щеки, какъ запульсировала кровь въ вискахъ и стало тяжелымъ и горячимъ мое дыханіе. Стало страшно и стыдно... И я больше не поднималъ глазъ съ земли...

Боюсь, что современникъ не пойметъ этого переживанія, потому что нагота женскаго тѣла теперь перестала быть той тайной, какою она была въ описываемое мной время... Тогда культурная женщина строго охраняла эту тайну и даже ногу свою не показывала выше щиколодки! Тогда женщина сгорѣла-бы отъ стыда, если-бы ее узрѣлъ мужчина въ современномъ купаль-

номъ костюмѣ. Современная женщина торопится сбросить всѣ покровы съ своихъ тайнъ и потому современнику трудно и представить описанное мною потрясеніе при видѣ нагой дѣвушки.

Спустя полчаса всѣ чудеса кончились. Мы сидѣли у костра и жарили обложенную иломъ утку. Оба проголодались и напоминали голодныхъ волковъ, поймавшихъ зайца. Ѣли безъ хлѣба и безъ соли, разрывая свою жертву прямо руками. Въ другой обстановкѣ это было-бы противнымъ варварствомъ, но сейчасъ имѣло какую-то своеобразную прелесть. Какъ-бы это объяснить вамъ? Воспользуюсь сравненіемъ: представьте, что кто-нибудь за званнымъ обѣдомъ въ городѣ схватилъ-бы огурецъ и, не очистивъ, и не нарѣзавъ, началъ хрупать его цѣликомъ изъ руки! Вѣроятно, всѣ поморщились-бы отъ нарушенія столовой эстетики. Но не случалось-ли и вамъ испытывать особенное удовольствіе, когда вы ѣли сорванный съ гряды огурецъ, пожирая его безъ ножей и вилокъ, а первобытнымъ способомъ? Такъ ароматно, вкусно, такъ пріятно похрустываетъ на зубахъ!

Вотъ нѣчто подобное было и тутъ, при варварскомъ пожираніи зажаренной первобытнымъ способомъ утки...

А когда съѣли утку, почувствовали сонливое благоутробіе, пріятную усталость. Когда еще сползутъ съ озера туманы! Можетъ быть, на разсвѣтѣ, когда подуетъ предутренній вѣтерокъ.

Сладко такъ позѣвнула дѣвушка, потянулась гибкимъ тѣломъ и прошептала:

— Ой, какъ спать охота!..

Мы заползли въ шалашъ и, прижавшись спинами другъ къ другу, замолчали. Полянка заснула, но я пребывалъ въ любовномъ чаду и лихорадкѣ. Я притворился спящимъ и пользовался невмѣняемостью спящаго въ его движеніяхъ. Что взять съ человѣка спящаго?

Крѣпко заснула. Поцѣловалъ разъ, — не слышитъ. Помедлилъ и снова. Слегка отмахнулась, какъ отъ мухи, но не проснулась. Припалъ лицомъ къ груди и задыхался отъ волненія. Перебросила руку, не вѣдая, что она упала на мое плечо. Точно обняла...

А, очнувшись неожиданно, испугалась, сѣла, осмотрѣлась и снова упала, отодвинувшись немного отъ меня... Прошептала:

— Пригрѣлся...

Въ сладкой истомѣ плавалъ я въ невѣдомыхъ до сей поры туманахъ блаженства, рождаемыхъ близостью къ женщинѣ, и незамѣтно потерялъ сознаніе — заснулъ крѣпчайшимъ сномъ. Очнувшись, не сразу понялъ, гдѣ я... Солнце уже сверкало чрезъ сухой камышъ шалаша, рисуя золотые узоры. Гудѣлъ шмель басомъ и трещали коростели хоромъ. Увидя ружье и ягдашъ, полный, дичью, сразу вспомнилъ все, что случилось. Гдѣ-же Поля? Выползъ изъ шалаша, оглядѣлся по сторонамъ и опечалился: нѣтъ ея! ушла... Еще курился дымкомъ прогорѣвшій костеръ, еще не расправилась примятая трава, гдѣ мы сидѣли, еще не разнесъ вѣтеръ радужныхъ перьевъ отъ съѣденной нами утки...

— Ушла!

Точно не вѣря этому, я заглянулъ въ шалашъ...

Точно все — сказка, что разсказала ночь на озерѣ!

Господи, какой я счастливый!

Въ изумленномъ молчаніи смотритъ на меня и озеро, и камыши, и маленькія пичуги. Улыбаются бѣлыя облачки съ голубыхъ высотъ. И душа и тѣло — въ непобѣдимой власти женщины... Сладостное рабство!

Торопливо умылся, собралъ свои охотничьи пожитки и веселыми ногами пошелъ съ озера къ землянкѣ на берегу Волги: къ волшебницѣ, покорившей мою душу и тѣло...

Еще два дня прожили мы вдвоемъ. Я какъ песъ на веревочкѣ: всегда около Поли. И всегда въ любов-

номъ туманѣ. Этого тумана не разсѣивалъ ни вѣтеръ, ни солнышко, ни темная ночь... И кажется мнѣ, что я счастливъ, то есть любимъ...

Такая она ласковая, привѣтливая, веселая. Только для видимости слегка противится поцѣлуямъ и осторожно отталкиваетъ, когда прижмешься. Не могу добиться одного:

— Ну, поцѣлуй меня!

— Была охота да прошла... И какъ только тебѣ не надоѣстъ?

Слегка оттолкнетъ, а въ глазахъ тоже туманъ, и щеки вспыхиваютъ румянцемъ, и грудь порывисто дышетъ пошевеливая толчками рубаху...

— Ты меня не любишь?

— Да отстань ты отъ меня! Зачѣмъ тебѣ моя любовь?

— Значитъ, — люблю...

— За что-же это ты полюбилъ меня?

— За красоту...

Покраснѣетъ до ушей, оправитъ волосы, подсовывая ихъ подъ платочекъ, и лукаво улыбнется:

— Васъ только послушай! Коли любишь, засылай сватовъ къ батюшкѣ... Да тебѣ отецъ съ матерью согласья своего не дадутъ, чтобы меня взять...

— Да я и спрашиваться не буду...

Вмѣстѣ плавали зажигать и тушить огни на баканахъ, и вечеромъ, послѣ ужина, долго болтали въ землянкѣ за самоварчикомъ. Она вытаскивала изъ-за божницы растрепанную книжку „Соломонъ“ и мы гадали, бросая на вѣщій кругъ зернышко изъ воска отъ Пасхальной свѣчи. Однажды ей вышло: „Вѣрь, человѣче, о комъ думаешь, любитъ тебя. Не пропусти счастія, кое дается намъ единожды въ жизни!“.

Я пристalъ:

— Скажи, о комъ задумала?

— Какое тебѣ дѣло?

А сама смутилась и встревожилась страшно. Точно боялась, что я узнаю ея тайные помыслы. Съ испугомъ ждала, что скажетъ премудрый „Соломонъ“ мнѣ. А мнѣ выпало: „Будешь любимъ и счастливъ въ жизни своей, человѣче!“.

Я воспользовался этимъ предсказаніемъ и сталъ думать вслухъ:

— Выходитъ, что сбудется мое желаніе: отдашь мнѣ колечко!

— Не отдамъ.

— Отдашь!

Началъ отнимать колечко. Борьба кончилась моей побѣдой: сорвалъ таки съ пальца колечко! Надѣлъ на свой:

— Теперь — моя!

— Силкомъ отнялъ... Это не считается... Кабы по доброй волѣ отдала, — другое дѣло. Мало-ли что силкомъ можно? И цѣловать силкомъ можно, какъ ты дѣлаешь, а толку въ этомъ мало.

— А все-таки колечко не отдамъ...

— Вотъ навязался въ женихи!

А у самой радость брыжжетъ въ глазахъ...

— Поздно. Уходи теперь!

— Не уйду! Поцѣлуй!

— Цѣлуй самъ, а я не поцѣлую!..

Конечно, я спѣшилъ воспользоваться неосторожнымъ словомъ дѣвушки и легко побѣждалъ въ борьбѣ за поцѣлуи.

— Уйдешь ты когда-нибудь!

— Никогда...

Опять перехитрила: скользнула за дверь, заперла душку накладки и залилась звонкимъ смѣхомъ:

— Вотъ и сиди до утра, а я спать подъ пологъ пойду!

Ушла, поскрипывая песочкомъ подъ окошечкомъ. Окошечко маленькое: пожалуй, не вылѣзешь. Вотъ озор-

ница! Попробовалъ, — невозможно. Метался какъ волкъ въ капканѣ. Пробовалъ спать, — не спится. Прошло часа два, а я все еще придумывалъ, какъ-бы освободиться изъ ловушки. Наконецъ, осѣнила счастливая догадка: можно снять дверку съ петелъ! Зажегъ потушенную, было, лампочку и началъ работать топорикомъ, которымъ когда-то Поля глушила сома. Петли нутряныя: отвинтилъ винты, вытянулъ добавочные гвозди. Радость удачи бурлила въ душѣ, когда я очутился подъ небомъ. Прокрался къ мосткамъ, спрятаннымъ за пологомъ и прислушался: спитъ моя красавица, не подозрѣвая надвинувшейся опасности. Заглянулъ въ щелку за пологъ: точно темный омутъ съ всплывшей русалкой... Затаивъ дыханіе, наклонился и нырнулъ въ этотъ омутъ. Припалъ къ русалкѣ...

Испугалась:

— Кто это?

— Не пугайся, Поля... Я это, я...

— Вотъ напугалъ какъ! Сердечко-то какъ бьется... Послушай-ка!..

Схватила мою руку и прижала къ груди... Потомъ отбросила мою руку и опустилась на сѣно:

— Отдышаться не могу... Этакъ и помереть недолго... И какъ ты вылѣзъ?

— Слово такое знаю: любая дверь предо мной отворится!

— Колдунъ, значитъ? Ну, будетъ, будетъ! Поигралъ и довольно. Знай край да не падай!

„Поиграть“ — это значитъ поласкаться, потормошиться. Отсюда и поговорка народная: „игра не доведетъ до добра“...

Никакого зла однако не случилось. Оба пьянѣли въ туманѣ радости отъ взаимной близости и точно ходили по краю страшной пропасти.

Хорошо, что успѣлъ навѣсить дверку: вечеромъ вернулись на лодкѣ Михайло Иванычъ и Ваня. Оба —

подъ хмѣлькомъ. Полянка сразу измѣнилась со мною: точно ничего и не было, ни поцѣлуевъ, ни „игры". Ходитъ и не глядитъ: точно и нѣтъ меня совсѣмъ...

— А я тутъ раковъ наловила, а послать не съ кѣмъ...

— Сами съѣдимъ. Кончилась моя служба! Собирай пожитки, завтра смѣнщикъ прибудетъ... Сколь тутъ не служи, а кромѣ ругани ничего не заслужишь...

Ваня вытащилъ бутылку водки, откупорилъ ее ударомъ ладони по донышку и торжественно поставилъ на столъ, который Полянка приготовляла къ ужину. Она опечалилась:

— Правду говоришь или такъ болтаешь выпимши?

— Правду.

— А что-же больно веселый?

— Нѣтъ худа безъ добра! — замѣтилъ Ваня, наливая водку въ стаканчики.

Оказалось, что Михайло Иванычъ, потерявшій насиженное мѣсто баканщика, не только нашелъ уже службу, но помогъ въ этомъ и Ванѣ: Михайлу Иваныча на караванъ старшимъ водоливомъ приняли, а тотъ упросилъ Ваню въ матросы.

— Не было-бы счастья да несчастье помогло!

— Чудны дѣла Твои, Господи! — поглаживая сѣдую бороду, разсуждалъ Михайло Иванычъ, — разсчитали невинно, обидѣли ни за что, а Господь-то видитъ и направляетъ дѣла-то наши человѣческія: баринъ за купца заступился: изъ-за моей, дескать, провинности караванъ на мель посадили, а прошло не больше часу, — меня прикащикъ караванный чайку попить позвалъ: такъ и такъ — говоритъ — не хошь-ли къ намъ на службу? Старшимъ водоливомъ? Какъ тутъ не выпить!

Ваня поддакивалъ, ругалъ начальство сквернымъ словами и, облегченно воздыхая, хвастался:

— А я теперя матросъ, свое званіе имѣю. А то мартышка да мартышка!

Изъ разговоровъ понялъ, что и мое пребываніе на маякѣ, гдѣ я прижился и чувствовалъ себя не хуже Адама въ Раю послѣ сотворенія Евы, — кончилось. Завтра изгнаніе изъ рая...

Могъ-ли я думать, что мое горе и печаль — только предвѣстники новыхъ радостей?

Всю ночь не спали: раззоряли гнѣздо, собирали и укладывали пожитки. Не мало всякаго добра скопили старикъ съ дочерью, все это надо въ порядокъ привести, уложить, связать и въ лодку погрузить. Завтра пріѣдетъ смѣнщикъ принять пунктъ, казенныя вещи. Приметъ, роспишется и кончено! Иди на всѣ четыре стороны.

Вышло такъ, словно и я свое мѣсто потерялъ, что и меня расчитали, только новой скужбы мнѣ не дали. Куда-же мнѣ теперь? Значитъ, — всему конецъ. Собирай чемоданъ и въ Казань! Значитъ, — прощай, Полянночка, и вся радость моя!..

Точно недосказанная сказка. На самомъ интересномъ мѣстѣ обрывается.

На другой день подъ вечеръ плыли на лодкѣ подъ парусомъ въ Новодѣвичье. Я занялъ мѣстечко около Полянки, чтобы поговорить тайкомъ о разлукѣ, о своей любви, о томъ, увидимся-ли въ Симбирскѣ будущей весною. Снова ухватился за соломенку: буду учить все лѣто до осени, а потомъ поѣдемъ въ Казань и сдадимъ экзаменъ на сельскую учительницу.

Она сидѣла съ опущенной головой и не отвѣчала, а только вздыхала и пугливо поглядывала, не смотрятъ-ли на насъ изъ-за груды вещей отецъ съ Ваней...

— Ужъ не знаю, какъ будетъ...

Узналъ отъ нея, что отецъ уѣдетъ съ караваномъ въ Нижній, а она дома останется.

— А какъ тебя найти въ слободѣ-то?

Вотъ тутъ и слетѣла первая радость: оказалось, что надо спросить просвирню: просвирню всякій въ слободѣ знаетъ, а ихъ домъ рядышкомъ, дворъ ко двору.

— Такъ мы съ тобой сосѣдями будемъ! Я остановился у просвирни...

Покраснѣла вдругъ Поляночка.

— Шутишь?

— Можетъ быть, у васъ двѣ просвирни? Моя — толстаа такая женщина, вдова...

— Одна у насъ просвирня. Толстая она, — вѣрно...

— А когда отецъ съ Ванькой уѣдутъ?

— Завтра чуть-свѣтъ...

— А можно къ тебѣ прійти?

— Просвирня-то хорошо намъ знакома. Она барскаго роду-то, а только обѣдняла, вотъ ее за дьякона и отдали, а дьяконъ-то запойный былъ, померъ года три тому назадъ... Книжки даетъ мнѣ читать.

Много поразсказала мнѣ Полянка про эту просвирню, которую зовутъ Авдотьей Степановной. Вотъ ужъ никакъ не думалъ, что и просвирни могутъ быть на свѣтѣ такія исключительныя:

— Вотъ и она все ко мнѣ пристаетъ: учиться надо, дескать, дальше. Учитель то нашъ нахвалилъ очень меня ей, вотъ она и... А когда намъ учиться? Побѣгала къ ней двѣ зимы по праздникамъ, а потомъ — то мнѣ, то ей недосугъ... Такъ и бросили.

Подумала, вздохнула:

— А теперь ты присталъ...

Она много еще говорила про просвирню, но я уже не слушалъ. Было ясно, что самъ Господь послалъ мнѣ въ помощь эту просвирню. Не зналъ, какъ и что будетъ, но чувствовалъ въ просвирнѣ тайнаго друга и будущаго помощника. Еще одна зацѣпка!

— Такъ ты совсѣмъ одна будешь теперь жить?

— Сестрица у отца есть, старушка. Съ ней мы будемъ домовничать...

— Старушка...

Это мнѣ не нравилось. Казалось совершенно лишнимъ.

— Злая навѣрно, какъ всѣ старухи...

— Строгая, конечно, женщина, но только она хворая ужъ и видитъ плохо...

— Слѣпая?

— Не совсѣмъ слѣпая, а чуть подальше, такъ и лошадь отъ коровы не различаетъ.

— Ну, дай ей Богъ здоровья!

Подплыли къ слободѣ. Я по пріятельски простился съ Михайломъ Иванычемъ и Ваней: они должны были разгрузить лодку и плыть къ стоявшему на якоряхъ каравану, на мѣсто своей новой службы. Мы остались съ Полянкой на берегу. Потомъ я сторожилъ вещи, пока дѣвушка бѣгала къ просвирнѣ за лошадью, чтобы перевезти все добро домой.

— Поляночка! Значитъ, увидимся? Когда?

— Я сама къ Авдотьѣ Степановнѣ завтра побываю... А къ намъ ходить повремени.

И вотъ я очутился снова у просвирни и сразу приступилъ къ дѣлу...

Подарилъ ей всѣхъ убитыхъ утокъ, разсказалъ, что охотился на маякѣ у Михайлы Иваныча. Похвалилъ старика и сразу, что называется, клюнуло:

— Старикъ хорошій человѣкъ. Мой пріятель. Ну, а дочка то, Поля-то, понравилась?

— Пріятная дѣвушка... Очень неглупая, кажется...

Авдотья Степановна точно обрадовалась и начала выхвалять Полянку:

— Исключительная дѣвушка! Необыкновенныхъ способностей! Я съ ней занималась: память, смѣтливость, любознательность...

Я поддакивалъ Авдотьѣ Степановнѣ и доставлялъ ей этимъ огромное удовольствіе:

— Вотъ видите: вы тоже обратили вниманіе! По

моему такихъ надо отбирать и посылать учиться на казенный счетъ... Я уже кому только не указывала, — всѣ соглашаются и никто палецъ о палецъ не ударитъ! Говорила съ нашимъ предводителемъ дворянства, съ инспекторомъ народныхъ училищъ...

Не знаю: подаренныя утки или совпаденіе нашихъ мнѣній о даровитости дѣвушки сразу сдѣлали насъ друзьями. Вечеромъ мы уже пили чай вмѣстѣ и безостановочно говорили о Полянкѣ, при чемъ строили всякіе планы — что и какъ сдѣлать, чтобы этотъ драгоцѣнный самородокъ не пропалъ неузнаннымъ и неоцѣненнымъ со стороны слѣпыхъ людей. А на другой день я былъ приглашенъ Авдотьей Степановной на обѣдъ изъ моихъ утокъ и, къ радостному удивленію, увидалъ Поляночку!..

— Вотъ видишь, Поля: ты бросила со мной заниматься, а вотъ послушай, что говоритъ совершенно посторонній образованный человѣкъ! Скажите ей сами!

Я произнесъ монологъ на тему о зарытыхъ талантахъ и о томъ, что ученье — свѣтъ, а неученье — тьма. Авдотья Степановна вставляла свои реплики и такъ въ два голоса мы довели до слезъ бѣдную дѣвушку...

— Ну, о чемъ ты, дурочка, плачешь? Мы тебѣ поможемъ. Я предлагаю тебѣ снова свою помощь. Зимой — я, а весной собирается пріѣхать вотъ этотъ добрый человѣкъ и все лѣто будетъ готовить тебя на званіе сельской учительницы... Если у насъ что неблагополучно, такъ это по ариѳметикѣ, а во всемъ остальномъ мы уже успѣли шагнуть порядочно. Только вотъ забыла, пожалуй, что выучили...

— Ничевошеньки не помню... Все изъ башки повылетѣло! — виновато прошептала дѣвушка, отирая платочкомъ слезы,

— А вотъ посмотримъ! — авторитетно заявилъ я...

— Да, вѣдь, ты уѣдешь? — прошептала она, не поднимая на меня глазъ.

Авдотья Степановна сдѣлала ей ласковый выговоръ:

— Я тебѣ объясняла уже, что нехорошо говорить постороннимъ людямъ „ты“. Такъ можно говорить своимъ, деревенскимъ... Говори — „вы уѣдете“, а не „ты уѣдешь“...

— Такъ ужъ мы привыкли, Авдотья Степановна... — отвѣтила съ улыбочкой Полянка.

— Отвыкай!

— Это все неважно. Я ей тоже говорю „ты“.

— Вы имѣете на то право, а она не можетъ... Садись съ нами обѣдать!

— Много благодарна... Мнѣ домой надо... Я ужъ поѣла...

Возбужденная и смущенная, убѣжала домой, а мы и за обѣдомъ продолжали обсуждать вопросъ уже съ его практической стороны. Я проживу до средины сентября, посмотрю, каковы ея познанія въ предметахъ, займусь съ ней пока до отъѣзда...

— А зимой мнѣ нечего дѣлать. Я съ удовольствіемъ...

— На лѣто пріѣду и увидимъ, что вышло... Надо за 4 класса гимназіи, безъ языковъ. Не Богъ вѣсть, какая премудрость!

Ахъ, какая милая эта толстая Авдотья Степановна! Вотъ тебѣ и просвирня: у ней на полкахъ и Гоголь, и Тургеневъ, и Некрасовъ, и „Вѣстникъ знанія“!..

Мои туманныя фантазіи, при помощи просвирни изъ Новодѣвичья, неожиданно нашли реальное воплощеніе!

Конечно, онѣ отъ этого дѣлались еще туманнѣе: я окончательно увѣровалъ, что Поля — моя нареченная невѣста, а въ недалекомъ будущемъ—жена. Отъ этого я выросъ въ собственныхъ глазахъ и точно освятились мои отношенія къ дѣвушкѣ, въ которыхъ романтическая поэзія и идеализація крѣпко сплетались съ грѣ-

ховнымъ влеченіемъ... „Звѣрь“ мужской породы какъ-то неожиданно присмирѣлъ. Точно его посадили на цѣпь. Точно переродилась и Полянка: сразу исчезли въ ней неоглядное буйство порыва, движеній, словъ, и даже смѣяться стала она по другому: не такъ звонко и заразительно, какъ смѣялась на озерахъ...

Можетъ быть, и она увѣровала въ мои фантазіи? Думаю, что тутъ большую роль сыграла Авдотья Степановна, женщина умная и проницательная. Какъ ни старался я прикрыть свою тайну предъ посторонними,— она, конечно сквозила на каждомъ шагу, и Авдотья Степановна быстро разгадала эту тайну. Возможно, что и сама дѣвушка въ интимныхъ разговорахъ со своей покровительницей раскрыла ей мои карты. Иногда Полянка оставалась ночевать у Авдотьи Степановны и тогда, чрезъ тонкую перегородку сосѣднихъ комнатъ, я слышалъ, какъ онѣ ворковали въ два осторожныхъ голоса: одна — по шмелиному, другая — какъ голубокъ, — до пѣтуховъ.. Я не могъ разслышать темы ихъ разговоровъ, но чувствовалъ, что тамъ, за перегородкой, — тоже прячется какая то тайна двухъ женскихъ душъ.

Возможно, что Авдотья Степановна и сдѣлалась „укротительницей звѣрей“.

Какъ-бы то ни было, а Полянка сдѣлалась серьезнѣе, задумчивѣе, пугливѣе, осторожнѣе во всѣхъ проявленіяхъ своего женскаго „я“. Начала говорить со мной на „вы“, хотя еще и сбивалась иногда, стѣснялась, конфузилась, спотыкалась въ словахъ.

Какъ знать, почему и какъ все это вышло? Возможно, что всѣ мои подозрѣнія относительно Авдотьи Степановны были ложны, а вся перемѣна въ дѣвушкѣ произошла просто потому, что я превратился въ ея учителя...

Каждый день, покончивъ, наскоро свои домашнія работы, дѣвушка приходила къ Авдотьѣ Степановнѣ и

мы занимались: читали, писали, рѣшали задачи. Наши уроки, хотя и производились наединѣ, но всегда въ квартиркѣ Авдотьи Степановны, которая всегда ощущалась гдѣ-то по близости, за перегородкой, и временами осторожно, на ципочкахъ, проходила чрезъ нашу комнату. Мнѣ это не казалось удобнымъ, и я пытался перенести занятія въ свою комнату.

— Мы вамъ мѣшаемъ, Авдотья Степановна? Пойдемте, Поля, въ мою комнату?

Поля пугливо взглядывала на Авдотью Степановну, а та торопилась меня успокоить. А однажды сказала мнѣ наединѣ:

— Лучше, если она будетъ у меня: увидятъ, что дѣвушка ходитъ къ вамъ, начнутъ болтать всякую гадость. Нравы у насъ дикіе. Сплетутъ что-нибудь... вымажутъ ворота дегтемъ или вооружатъ старика Михайлу Иваныча... Я и васъ и Полю берегу отъ непріятностей...

— Спасибо, Авдотья Степановна.

— Я увѣрена, что вы — честный человѣкъ и что вы... очень расположены къ моей любимицѣ... Вѣрно, вѣдь? Къ чему скрывать? Это такъ естественно...

— Я не скрываю...

— Тѣмъ осторожнѣе надо вести себя...

— Конечно, конечно.

Я краснѣлъ: чувствовалъ, что все видитъ и все понимаетъ эта дипломатка, но осторожность и благоразуміе только подливали масла въ огонь. А онъ разгорался съ обѣихъ сторонъ. Часто за уроками, встрѣчаясь глазами, мы ласкались на разстояніи и тонули въ туманахъ невѣдомаго счастья. Однажды, объясняя рѣшеніе задачи, я пододвинулся къ ученицѣ и осторожно поглаживая умную головку дѣвушки, склонился, было, чтобы поцѣловать покраснѣвшую щечку, но какъ разъ въ этотъ моментъ дважды кашлянула за перегородкой Авдотья Степановна, и мы отодвинулись другъ отъ друга.

Это невозможно и невыносимо! Я обозлился на Авдотью Степановну.

— Ну, Поля, — подумайте! — строго сказалъ я, пересаживаясь напротивъ. Взялъ клочекъ бумаги и написалъ:

„Поля! Приходи ночью послѣ первыхъ пѣтуховъ въ садикъ, къ плетню. Надо поговорить".

Подсунулъ бумажку Полѣ и сталъ ходить по комнатѣ. Она прочитала, что-то написала на оборотѣ и подложила ко мнѣ на столъ.

„Приду. Только бы не узнала она".

Такъ начались наши тайныя свиданія.

Полна тайнъ сладостныхъ пора юная и ея любовь непознанная. Много-много лѣтъ спустя, когда эта пора останется далеко позади, мы познаемъ, что и на землѣ мы однажды, если не были въ самомъ раю, то приближались къ вратамъ его.

Можетъ-ли быть красивой любовь къ простой деревенской дѣвушкѣ? Но, вѣдь, любовь творитъ чудеса. Даже самая обыкновенная песчинка подъ лучемъ солнца превращается въ сверкающій брилліантъ. Такъ и подъ лучами солнца любви все пропитывается сказочной красотою!..

Продѣлка обманщицы природы? Но кто скажетъ, когда мы обманываемся: тогда-ли, когда свѣжи и остры всѣ впечатлѣнія бытія, или въ періодъ мудрой зрѣлости, когда мы, загрязненные пылью и грязью пройденнаго пути жизни, равнодушно проходимъ мимо всѣхъ чудесъ бытія и любви?..

...Такой маленькій садикъ съ такимъ крошечнымъ домикомъ и такое огромное, какъ звѣздный куполъ небесъ надъ ними счастіе!

Прошло такъ много-много лѣтъ, а огонекъ въ маленькомъ домикѣ, въ его таинственномъ окошечкѣ до

сей поры не потухаетъ, свѣтится и манитъ въ страну невозвратности...

Ахъ, ночки темныя, звѣздныя, шепоты садовые, вѣтерки шаловливые, глаза дѣвичьи въ темнотѣ сверкающіе, поцѣлуи дурманящіе и пугливые!..

Все пугало насъ: и шелесты листвы, и внезапный церковный звонъ, отбивающій часы, и пѣтухъ, гдѣ-то забившій крыльями и подавшій сигналъ къ пѣтушинной нерекличкѣ во всей слободѣ, и собака неожиданно забрехавшая...

— Ну, прощай, мой миленочекъ: вторые пѣтухи поютъ, звѣзды гаснутъ въ небѣ...

— Побудь еще? Скажи, что любишь!

— Ахъ, ты! Все не вѣришь? Какъ я тебѣ докажу еще?

Блѣдный проблескъ зачинающаго утра прогоняетъ темноту и приближаетъ всѣ опасности. Вотъ гдѣ-то загромыхала пустая телѣга, такъ грубо и громко, на всю Волгу. Люди просыпаются...

Метнулась отъ прясла въ густую заросль малинника и пропала. А я остался... Стою у прясла и прислушиваюсь. Вотъ скрипнула дверь на крыльчикѣ домика. Погасъ огонекъ въ маленькомъ окошечкѣ... Медленно отхожу, пугаюсь упавшаго къ ногамъ яблока.

Тихо пробираюсь въ свою комнату. Какъ воръ. Открываю окно... А хитрая Авдотья Степановна покашливаетъ за перегородкой...

— Кто тамъ?

— Я это...

Сбрасываю одежду, ложусь и летаю на крыльяхъ своей радости, съ улыбкой на губахъ, горящихъ еще отъ сладкихъ поцѣлуевъ...

„Спокойной ночи, милая Поляночка!“

И такъ почти каждую ночь.

Осень стояла сухая, ясная, ядренная, золотисто-румяная, какъ спѣлое яблочко анисовое. Садочки наши

пріодѣлись въ парчу, красными и золотыми шелками расшитую. Ковры — многоцвѣтные! Крѣпко пахло яблоками, огурцами, капустой, ржанымъ хлѣбомъ и соломой. Много хлопотъ бабамъ и дѣвкамъ. Весь день съ утра ранняго надъ слободой бабій гомонъ и визгъ стоитъ, телѣги скрипятъ — снопы съ полей везутъ, молодые жеребята сосунцы, встрѣчая матерей, радостно и голосисто неумѣло ржатъ, словно въ трубы мѣдныя — гарнисты. По Волгѣ пароходы съ баржами другъ за дружкой тянутся, дымъ изъ трубъ лентами распускаютъ. На пристаняхъ, когда легкіе пароходы къ Новодѣвичью подваливаютъ, появляются студенты: какъ птицы перелетныя тянутся, кто въ Казань, кто въ Москву...

И мнѣ-бы пора сняться и летѣть, да любовь привязала къ просвирниному дому. Каждую ночку съ Поляночкой въ золотомъ садочкѣ прощаюсь до слѣдующаго лѣта, чтобы завтра въ путь-дорогу двинуться, а придетъ это завтра, — снова до завтра откладываю. Опять прощальная ночка!

Ахъ, эти ночки прощальныя! Сколько въ нихъ и грусти и радости, слезинокъ на рѣсницахъ, взглядовъ долгихъ проникновенныхъ, улыбокъ печальныхъ, клятвъ бездонныхъ, поцѣлуевъ послѣднихъ, терзаній сладкихъ!

Да и какъ уѣдешь? Надо-бы съ „простыми дробями“ хотя кончить! Намъ одно дѣленіе осталось. Вотъ кончимъ „дѣленіе дробей“ и тогда — прощай! Надолго. До лѣта. А лѣтомъ, какъ зацвѣтутъ сирень съ черемухой, снова будемъ вмѣстѣ...

— Денька три побудь ужъ! Надо дроби-то кончить...

Не ладятся эти дроби: обоихъ тоска разлуки близкой гложетъ. Въ головѣ совсѣмъ другое...

Два дня съ дробями возились и еще двѣ ночки прощались, а на третій день не пришла Поля на урокъ. Что такое случилось? Авдотья Степановна въ сосѣди сбѣгала и, вернувшись, разсказала.

Ваня пріѣхалъ на легкомъ пароходѣ. Михайло Иванычъ съ караваномъ изъ Астрахани въ Нижній плыветъ. Завтра подъ вечеръ мимо Новодѣвичья пройдутъ. Ваня присланъ за провизіей для капитана и команды. Старикъ приказалъ теплую одежу захватить: скоро по ночамъ холода будутъ. Наказалъ и Полянку на караванъ захватить.

— Вотъ письмецо вамъ! — съ значительной улыбочкой сказала Авдотья Степановна.

— Отъ кого?

— Неужели не догадываетесь?

Отвернулся въ уголокъ, прочиталъ:

„Ужъ не знаю, какъ повидаться намъ да проститься въ остальный разокъ. Отецъ на караванъ беретъ. Коли не приведетъ Богъ наединѣ свидѣться, помни: весной ждать буду. Не обмани! Мнѣ очень скучно будетъ въ разлукѣ съ тобой. Помни!“

Заметалась душа... Поймалъ Ваню на базарѣ. Встрѣча была пріятельская. Удивился, что я все-еще болтаюсь въ слободѣ. Зашли въ трактиръ чайку попить, и тутъ все разрѣшилось неожиданной удачей. Повезло!

— Ну, а ты когда уѣдешь отселева?

— Завтра.

— Куда-же?

— Въ Казань.

— Чѣмъ деньги за билетъ платить, мы тебя даромъ до Казани доставимъ! И намъ повеселѣе будетъ. Поляночка съ нами-же поѣдетъ. Я дитару купилъ!

— А согласится-ли капитанъ меня взять?

— Будь спокоенъ! Водоливъ на караванѣ хозяинъ. Съ нимъ на баржѣ будемъ. До капитана ты не касаешься. Собирайся и никакихъ разговоровъ! Наша лодка у Кашинской пристани стоитъ. Къ четыремъ часамъ туда являйся.

Не узнать прежняго Вани-мартышки! Одѣтъ мат-

росомъ, рожа облагообразилась, поступь увѣренная, веселъ, шутливъ, проворенъ. Совсѣмъ другой человѣкъ!.. По базару проходимъ, съ бабами и дѣвками пересмѣивается, въ остроуміи состязается. Бабій хохотъ кругомъ. За Ваней молоденькій матросикъ съ мѣшкомъ: закупленную провизію носитъ, а Ваня бариномъ: только покупаетъ и расплачивается.

— Эхъ, тетки, молодки, бѣлыя лебедки! Почемъ огурчики-то?

— Завтра даромъ, а седни пятакъ за сотню.

— Ну, такъ я къ тебѣ завтра вечеркомъ, когда мужа дома не будетъ!

Въ молодости какъ то все происходитъ неожиданно и чудесно, какъ въ сказкахъ. Пришолъ вечеръ и я въ лодкѣ съ Поляночкой, которая вся въ трепетѣ отъ нечаянной встрѣчи и радости. И съ нами плыветъ наша тайна. Мы сидимъ пока въ отдаленіи другъ отъ друга и лишь воровски переглядываемся, съ трудомъ скрывая свой восторгъ, разговариваемъ только взглядами. Поля больше съ Ваней говоритъ, но въ разговорѣ ея и такія слова есть, которыя я тайно понимать долженъ: для меня они, эти слова:

— Куда-же вы барина-то, Ваня, посадите? Съ нами ему скучно будетъ...

Ваня подмигиваетъ и шутитъ:

— Съ тобой въ каютѣ будетъ спать... Отецъ ночью на вахтѣ, а вы двоешкой. Лавка тамъ широкая, а теперь и мягко будетъ: овчинный тулупъ постелимъ поверхъ кошевки, и подушечки теперь двѣ... Небойсь, не соскучимся. Я дитару въ Астрахани купилъ: поиграю, а вы попляшите...

— А ты греби хорошенько, — видишь: лодку сноситъ! — говоритъ Полянка молоденькому матросику, а потомъ къ Ванѣ:

— Что ты бариномъ сидишь? Садись въ весла!

Пересѣли. Полянка очутилась на кормѣ, около меня, Ваня сѣлъ въ весла:

— Ну-ка, приналяжемъ!

— Что ты такъ бережешь, дѣвушка?

— Книжки взяла. На баржѣ учиться буду.

— А я тебѣ помогать...

— Много вамъ благодарна...

Вытащила бумажку, написала что-то и бросила мнѣ въ колѣни:

„Милый ты мой, счастье-то намъ какое".

Да, огромное, какъ Волга, какъ небо, какъ весь этотъ сверкающій водяной просторъ.

— А сколь денъ будемъ до Казани плыть?

— Денъ пять, не меньше. Тяжело караванъ нагружонъ. Версты четыре въ часъ — больше не побѣжимъ...

Еще пять дней, а тамъ — разлука...

Переглянулись и грустно улыбнулись другъ другу.

Часа черезъ два на перекатѣ, недалеко отъ маяка, якорь бросили: будемъ ждать здѣсь караванъ. Запаздываетъ: пора-бы показаться, а невидно. Солнышко садится. Розовый туманъ надъ Волгой курится, а въ немъ огоньки зажигаются, красные, желтые, зеленые. Подъ горами уже тьма ползаетъ. Звѣздочки брилліантиками начинаютъ въ синевѣ искриться.

— Запропалъ! Не сѣлъ-ли гдѣ на пески? — безпокоится Ваня.

Пусть сидитъ на мели, — я готовъ жить на якорѣ. Темно. Ваня фонарь на веслѣ вздернулъ. Мы подъ покровомъ темноты, жмемъ руки другъ другу, ласкаемся крадучись.

— Когда еще на баржу попадемъ... Что-то въ брюхѣ неспокойно. Поѣсть надо — говоритъ Ваня. Приволокъ мѣшокъ. Мы сбились въ кучу. Затрещалъ подъ ножемъ спѣлый арбузъ, пахнуло печенымъ хлѣбомъ, копченой рыбой, яблоками...

— Ну-ка, Миколаичъ, хлопнемъ по стаканчику!

Погляжу я на васъ, — не поздравить-ли? Что-то жметесь всё другъ къ дружкѣ...

Ночь. Изъ горныхъ овраговъ холодомъ потянуло. Волна въ бортъ лодки поплескиваетъ. Тишина. Лодка слегка покачивается. Точно въ колыбели. Я сползъ съ лавки на дно лодки и прильнулъ головою къ колѣнямъ Поляночки. Она незамѣтно поглаживаетъ меня по обнаженной головѣ и чуть слышно шепчетъ: „Милый ты мой!"

— Поцѣлуй!

— Боюсь.

— Темно.

Оглядѣлась, склонилась:

— Миленокъ...

Волга насъ убаюкивала, говорливая волна сказки сказывала, лодочку плавно покачивала, сладкую дрему навѣвала. Между небомъ и землей висѣли. Точно и время остановилось... И вдругъ тревога: Ваня хриплымъ сонным голосомъ бросилъ:

— Нашъ „Купецъ" огни показалъ! Поднимай якорь! Живо! Фонарь на корму! На весла!

Повисъ надъ кормой огонекъ. Заплюхали весла, зазвенѣла волна подъ носомъ и поплылъ темный контуръ песковъ назадъ, въ темень...

А навстрѣчу выростаетъ, какъ чудовище съ краснымъ и зеленымъ глазами, долгожданный пароходъ съ баржами. Все ближе, все больше! Ваня кружитъ фонаремъ огненные круги — сигналъ подаетъ. Вотъ и намъ махнули фонаремъ. Густой гудокъ прорѣзалъ ночную темноту и стало слышно, какъ пароходныя колеса стали медленнѣе молотить воду, а потомъ прозвучалъ надъ Волгой голосъ въ рупоръ, точно великанъ:

— Про-ворнѣй, такъ... такъ... такъ... закричало эхо въ горахъ.

— Хорошій голосъ у нашего капитана! — похвастался Ваня и скоро лодка ткнулась въ бортъ парохода

и точно прилипла къ нему. Грохнула сброшенная лѣсенка и мы начали выгружаться. Когда сдали провизію, Ваня сказалъ мнѣ:

— Коли хочешь, оставайся на пароходѣ. Капитанъ разрѣшилъ тебѣ въ рубкѣ своей проѣхать... А мы — на баржу, къ Михалѣ Иванычу, сплываемъ...

— Нѣтъ. Я съ вами, на баржу. Поди, найдется и мнѣ тамъ мѣстечко?

— Да у насъ въ трюмѣ мѣста на сто человѣкъ, а только грязновато и никакихъ такихъ диванов нѣтъ...

— Все равно.

Сплыли на баржу.

Признаться, я побаивался таки Михайлы Иваныча: не учуялъ-бы сердцемъ родительскимъ, что неспроста я на баржѣ вздумалъ кататься. Но всѣ страхи оказались напрасными: старикъ только подивился и поинтересовался, почему я на легкомъ пароходѣ не поѣхалъ. Я объяснилъ:

— Времени у меня много, а денегъ мало.

Посмѣялся, похлопалъ по плечу:

— Ничего, не сумлѣвайся: до Казани прокормимъ! А ты намъ за то поработаешь: палубу поможешь мыть, рубахи да портки вмѣстѣ съ Полянкой постирать...

Посмѣялся и приказалъ Полянкѣ:

— Ну-ка, дочка, налаживай намъ уху изъ стерляди! Я рыбки припасъ, а Ваня водочки привезъ. А музыки у насъ, сколь хочешь: и гармонь и дитара!

Хорошая каюта на баржѣ: цѣлый домикъ съ двумя окошками, а на крышѣ — балконъ: тамъ по ночамъ Михайло Иванычъ вахту держитъ. И теперь онъ — на вахту, а мы съ Полянкой — въ домикъ. Хорошо и уютно: огонекъ фонаря, на стѣнкѣ часики тикаютъ. Кровать, нары, два табурета, на одномъ самоваръ поблескиваетъ. Столъ скатеркой накрытъ. У окошка — конторка: тутъ въ родѣ канцеляріи. Точно и не на водѣ совсѣмъ.

Ваня вещи принесъ. Дѣла пока нѣтъ, присѣлъ позубоскалить.

— А что я на базарѣ въ слободѣ слыхалъ... Правда али нѣтъ? Про тебя, Полянка!

— Ну! Что слыхалъ?

— Слыхалъ, будто ты своего Ваську отставила?

— А тебѣ какая печаль?

— Мнѣ никакой печали, а весело: давно-бы пора это, дѣвушка, сдѣлать! И тогда говорилъ и сейчасъ скажу: курносая балалайка!

Потомъ перевелъ вниманіе на меня:

— Вотъ, Миколаичъ, помнишь: въ табунѣ хотѣлъ походить? Теперь, значить, можешь... Пріѣзжай-ка къ Пасхѣ опять къ намъ въ слободу и попробуй!

— Сватъ нашелся...

На разсвѣтѣ уху ѣли. Ваня водочкой угощалъ. Они съ Михайло Иванычемъ подвыпили основательно и заставили насъ съ Полянкой выпить. Ваня привелъ молоденькаго матроса. Самъ съ гитарой, тотъ съ гармошкой. Они хорошо сыгрались уже и теперь начали удивлять насъ своимъ мастерствомъ, стремясь перещеголять другъ друга фокусами. Когда заиграли „барыню“, старикъ въ такой ражъ вошелъ, что заставилъ Полянку плясать. Она долго упрямилась, а старикъ не отставалъ:

— Ну, уважь! попляши!

А музыканты все задорнѣе зажаривали „барыню“, пристукивая въ тактъ ногами, и отъ этого вихря задорныхъ призывныхъ звуковъ невольно начинали пошеве-ливаться у всѣхъ плечи, руки и ноги. Не стерпѣла Поляночка: сорвалась съ мѣста и начала павой разгуливать по кругу, пристукивая каблучками и помахивая платочкомъ.

Проплывая мимо меня, она стрѣляла глазами и подманивала платочкомъ, а старикъ кричалъ „жарь, жарь!“ и подталкивалъ меня въ кругъ. Не сдержался и я: сорвался съ мѣста и навстрѣчу Поляночкѣ!

Отплясали, а въ головѣ все еще вихрь кружится. Старикъ доволенъ:

— Вотъ спасибо! уважили... А хороша дѣвушка, Миколаичъ?

— Надо-бы лучше да нельзя ужъ! — отвѣчаю въ томъ-же стилѣ.

Шутитъ старикъ, поглаживая бороду:

— Что-же, если ндравится, сватай! Отдамъ...

— Поди, и меня надо тоже спросить! — откликается Полянка, обмахиваясь платочкомъ. Румяная она, глаза радостью горятъ, дышетъ порывисто...

— Неужели не согласна въ барыни попасть? — шутитъ старикъ.

— Какъ захочу, такъ и будетъ...

И вотъ какъ странно: какъ только исчезла съ горизонта Авдотья Степановна, Полянка снова превратилась въ прежнюю, какой я узналъ ее на маякѣ и на озерахъ. Точно сорвалась съ цѣпочки, на которой держала ее Авдотья Степановна. Опять — звонкій смѣхъ, порывистость въ движеніяхъ, смѣлость въ словѣ, природное буйство свободной души въ ея первобытности...

Отецъ попрекнулъ ее гармонистомъ Васькой:

— Не такого-бы тебѣ надо...

— Отставила я его! Вольная я теперь...

А подвипившій Ваня опять ко мнѣ:

– Ну, Миколаичъ, смотри не зѣвай! Лучше дѣвки на всей Волгѣ не найдешь! Вонъ и папаша согласенъ...

— За мной задержки не будетъ...

Пиръ кончился. Ваня предложилъ мнѣ пойти спать въ трюмъ:

— Тамъ у насъ тепло и мягко: на рогожныхъ куляхъ не хуже, чѣмъ на перинѣ.

Старикъ обидѣлся за меня:

— У меня въ каютѣ мѣста достаточно. Что ему въ трюмѣ пачкаться?

Такъ я сразу прижился и сдѣлался на баржѣ сво-

имъ человѣкомъ, равноправнымъ членомъ водяного семейства. Еще пять сутокъ блаженства!

Полянка вела хозяйство, а покончивъ съ нимъ, бралась за книжки. Мы продолжали уроки по арифметикѣ и грамматикѣ. На минутку появлялся Михайло Иванычъ и, видя насъ за книжками, одобрялъ:

— Пущай поучится хорошенько считать. Оно невредно...

А вечеромъ мы взбирались на вышку и, прижавшись другъ къ другу, любовались водяными просторами и красочными закатами, потихоньку воркуя о томъ, какъ будетъ впереди. Старикъ, конечно, замѣчалъ наше сближеніе, но не препятствовалъ. Пройдетъ, ухмыльнется и молча погрозитъ пальцемъ. Однажды поймалъ: поцѣловались. Покачалъ головой и Полянкѣ выговоръ сдѣлалъ:

— Губы не мои, мнѣ не жалко, а всетаки не надо людей дразнить. Вы хоть-бы за уголокъ куда спрятались!

Я растерялся, началъ, было отрицать преступленіе, но дѣвушка засмѣялась и бросила отцу дерзкую фразу:

— Покуда въ дѣвкахъ, кого хочу, того и поцѣлую! Тебя, что-ли спрашиваться?

Шли дни и ночи въ постоянной близости и заныло испуганно сердце, когда однажды, въ розовой дымкѣ вечерней зари, всплылъ Казанскій Кремль, сверкая куполами монастырей и собора и вырисовавшись стѣнами и башнями...

Суровый приговоръ къ долгой разлукѣ!..

Загудѣлъ нашъ пароходъ долгимъ протяжнымъ сигналомъ...

— Вотъ и Казань твоя!.. — печально произнесла Полянка и личико дѣвушки стало пасмурнымъ.

Пароходъ долженъ былъ въ Казани брать нефть. Поставилъ караванъ на якоря и убѣжалъ къ нефтянкѣ.

Вся команда на баржѣ въ дѣловыхъ хлопотахъ.

Никто не помѣшалъ намъ проститься. Заплакала Поляночка, склонивъ голову мнѣ къ плечу. Перекрестила меня и сказала:

— Смотри-же не забудь! Не потеряй мое колечко! Весной ждать буду...

Простился и со всѣми другими спутниками. Ваня свезъ меня съ чемоданомъ и ружьемъ на берегъ. Я стоялъ тамъ и помахивалъ платочкомъ каравану, гдѣ тоже мелькалъ, какъ чайка, платочекъ. Пароходъ напился нефти, дважды отрывисто крикнулъ и тяжело задышалъ машиной... На караванѣ завизжали цѣпи поднимаемыхъ якорей ..

Прощай, Поляночка!

Караванъ поползъ вверхъ. На передней баржѣ, съ вышки, все еще мелькалъ платочекъ, пока фіолетовая мгла вечера не скрыла всѣхъ очертаній и не превратила и пароходъ, и баржи, и мою Поляночку въ одно темное пятно на горизонтѣ. Тоска хлынула въ душу. Все, что сталось позади, изчезло, какъ дымъ парохода. Все какъ сонъ...

Взялъ извощика и затрясся по мостовой въ Казань.

Знакомая безконечная дамба, соединяющая городъ съ Волгой, знакомая слобода, церкви, вывѣски, переулочки, суета, трескотня, грохотъ. А вотъ и городъ! Казань все таже, а вотъ я уже не тотъ: я люблю и любимъ, на моемъ пальцѣ завѣтное колечко... Закуриваю папиросу, откидываюсь на спинку извощичьей пролетки и гордо посматриваю на всю эту странную и ненужную, какъ мнѣ теперь казалось, суетню. Моя душа, какъ тихое глубокое озеро, гдѣ я нашелъ свое счастіе: она полна молчаливой тайны...

Навалилась на душу цѣлая гора хлопотъ и задавила сладкую тоску разлуки... Свершилась чудесная метаморфоза: я превратился изъ гимназиста въ студента.

Съ утра до ночи бѣготня. Осложненіе съ университетомъ: не представилъ во время подлиннаго аттестата зрѣлости, а лишь временное свидѣтельство. Прошеніе, посланное наскоро изъ Новодѣвичья, оставили безъ разсмотрѣнія, затѣмъ надо найти комнату и сожителя. Раздобыть медицинское свидѣтельство о томъ, что я по болѣзни не могъ пріѣхать раньше и своевременно представить всѣ документы и записаться на лекціи.

Прямо голова пошла кругомъ... И тосковать некогда. За день такъ набѣгаешься, что спишь, какъ убитый. Даже и во снѣ Поляночкн не видишь.

А потомъ сразу бурный водоворотъ новой жизни: лекціи, студенческія дѣла, разныя кружковыя собранія съ умными разговорами, новыя знакомства, потомъ приготовленія къ торжественному университетскому акту и студенческому годовому балу...

Сразу уплыло куда-то въ невѣдомую даль прошлаго и Новодѣвичье, и Полянка, и Авдотья Степановна, и потускнѣло мое счастье, какъ серебрянное колечко, отданное мнѣ на вѣки дѣвушкой: колечко оказалось только посеребреннымъ, серебро слѣзало и обнажалась мѣдь. Стыдно носить и вообще-то студенту кольца, а такое... Положилъ въ коробочку и спряталъ въ ящикъ стола. Авдотья Степановна просила поскорѣе прислать программу для экзамена на сельскую учительницу въ Казанской учительской семинаріи. Но положительно некогда! Вотъ наладится новая жизнь, тогда примусь и за это дѣло. А тутъ какъ разъ студенческій балъ на очереди. Это — огромное событіе въ нашей студенческой жизни, а я состою въ комитетѣ и въ числѣ будущихъ распорядителей.

А на балу встрѣча съ Леночкой Михайловой... Пораженъ: неузнаваема! чертовски похорошѣла. Удивительно, почему она не казалась мнѣ раньше достойною вниманія? Когда-то была въ меня влюблена, а теперь и замѣчать не хочетъ: цѣлый хвостъ тянется за ней, чтобы

перехватить ее для вальса. Смѣшно стало: вспомнилъ, какъ въ Новодѣвичьи парни за дѣвкой табунами ходятъ. Тревожно стукнуло сердце: надо поскорѣе послать Авдотьѣ Степановнѣ программы и проспекты, а глаза продолжаютъ слѣдовать за Леночкой Михайловой: попробую пригласить!

Вмѣшался въ табунъ и поймалъ моментъ, нужный для перехвата интересной дамы. Пятеро конкуррентовъ! Всѣ ловятъ этотъ моментъ.

Леночка обвела всѣхъ претендентовъ небрежнымъ взглядомъ и, улыбнувшись, нарушила въ мою пользу справедливость очереди. Оправдываясь отъ молчаливыхъ укоровъ въ несправедливости, она бросила всѣмъ другимъ:

— Я раньше обѣщала...

Кружимся въ вальсѣ и болтаемъ. Я пускаю въ ходъ все свое остроуміе, цитирую Пушкина, стараюсь очаровать свою даму глубокомысліемъ и находчивостью.

— Вы по прежнему ухаживаете за всѣми барышнями?

— Далеко не за всѣми, а только за нѣкоторыми...

— Помнится, вы еще въ пятомъ классѣ сдѣлали одной гимназисткѣ предложеніе!

— Любви всѣ возрасты покорны!

— И теперь влюблены?

— Кажется.

— Не секретъ въ кого?

— Она здѣсь. Я вамъ покажу ее и надѣюсь, что вы одобрите мой выборъ...

Кружились до тѣхъ поръ пока оркестръ не оборвалъ вальса. Потомъ стали гулять подъ руку. Леночка сгорала отъ любопытства:

— Ну, покажите ваше увлеченіе!

— Ахъ, да... хорошо. А вдругъ разсердитесь?

Леночка дѣлаетъ большіе глаза:

— На васъ?.. За что?

— Вы ее знаете... Она страшно похожа на васъ.

— Разъ обѣщано, надо исполнять.

— Я сожму вашу руку, когда надо посмотрѣть, чтобы увидѣть ее.

— Хорошо, пожмите!

Ходимъ долго по всѣмъ заламъ и гостиннымъ. Нетерпѣніе моей дамы возрастаетъ.

— Ну, гдѣ-же она?

Наконецъ, когда мы проходимъ маленькую комнату, гдѣ никого нѣтъ, я подвожу ее къ большому зеркалу въ золотой рамѣ и жму руку. Она взрывается веселымъ смѣхомъ и больно ударяетъ меня по рукѣ сложеннымъ вѣеромъ. А конкуренты — по пятамъ за нами:

— Съ кѣмъ танцуете, Елена Владиміровна, мазурку?

— Со мной! со мной! — съ досадою отвѣчаю за Леночку...

— Да. Я раньше обѣщала уже...

Отхлынули!

— Мерси. Я очень счастливъ!

— И на долго?..

— Ровно на тридцать лѣтъ и три года.

— Имѣйте въ виду, что вы меня послѣ бала провожаете...

— Готовъ ежедневно не только провожать, но и встрѣчать!

— Ну, это, пожалуй, лишнее...

Обворожительно прекрасна стала Леночка. У ней— японскіе глаза, французская живость, итальянская пѣвучесть въ голосѣ, темпераментъ испанки... Что-то Карменистое въ ней...

Балъ кончился мазуркой изъ „Жизни за царя“ и моимъ столкновеніемъ съ подвыпившимъ студентомъ, поклонникомъ Леночки, который нахально лѣзъ въ провожатые и утверждалъ, что еще три дня тому назадъ Леночка просила его объ этомъ.

— Я не думала, что вы самъ будете нуждаться въ провожатыхъ! — взволнованно сказала моя прекрасная дама. — Вы едва держитесь на ногахъ...

Я обругалъ соперника нахаломъ, тотъ полѣзъ драться. Насъ розняли и развели въ стороны. Леночку я всетаки проводилъ и... поцѣловалъ ей ручку.

— Пожалуй, это уже лишнее! — сказала она, но не разсердилась.

— Почему лишнее?

— Только дамамъ цѣлуютъ руку...

— Тогда считаю необходимымъ сдѣлать предложеніе...

Засмѣялась и исчезла въ подъѣздѣ...

Шелъ домой медленно, полный удивленія и восхищенія. Завтра встрѣтимся въ театрѣ...

Вернувшись домой, нашелъ па столѣ письмо съ безграмотно написаннымъ адресомъ. Вскрылъ и началъ читать:

„Миленокъ мой какъ я соскучилась по тебѣ, инда слезы льютца. Долголь намъ съ тобой въ разлукѣ жить. Напиши письмецо. Забылъ ты видно меня. У насъ все по старому окромя какъ передъ училищемъ новый столбъ тилиграфный поставили. Вчерась мы съ тетенькой Авдотіей Степанавной десятичны дроби прикончили. Только книжками тоску свою отбиваю. Ждемъ отъ тебя всяки програмы не дождемся чтото. Папашенька Михайла Иванычъ все прихварываетъ а я жива и здорова, чего и тебѣ жалаю. До гроба тебѣ вѣрная Поля Стоеросова“.

Читаю, а мнѣ только смѣшно, досадно и немножко совѣстно...

Программы досталъ и послалъ Авдотьѣ Степановнѣ, но на письмо Полянки не отвѣтилъ. Попробовалъ писать, — ничего не выходитъ! О чемъ писать? Не о чемъ...

У меня — ни тоски, ни грусти, а напротивъ: радость! Проводивъ Леночку послѣ театра до дому, я задержалъ ея руку при прощаніи и спросилъ:

— Лена!.. Да или нѣтъ?

Прошептала „да!“ и, вырвавъ свою ручку изъ моей, быстро нырнула въ дверь, не обернувшись...

Нѣтъ сомнѣній, что она меня любитъ...

...Прошло много-много лѣтъ. Улетѣла юность и все, что было во младости, быльемъ покрылось, травой забвенія заросло...

Ѣхалъ я однажды, съ женой и нашими ребятишками, по Волгѣ, въ самодовольно-благодушномъ настроеніи человѣка, которому кажется, что все прекрасно въ этомъ лучшемъ изъ міровъ. Любовался родной рѣкой, кушалъ рыбную солянку и свѣжую икру, уху изъ стерляди, бифштексъ съ кровью, распивалъ безконечные чаи на балконѣ верхняго трапа, сладко спалъ послѣ обѣда въ своей отдѣльной семейной каютѣ, убаюкиваемый ритмическимъ постукиваніемъ пароходныхъ колесъ и ласковыми вздрагиваніями пружинной койки, почитывалъ лѣниво Гейневское путешествіе на Гарцъ, поигрывалъ съ попутчиками въ картишки и въ общемъ чувствовалъ себя счастливымъ мужемъ и отцомъ, путь жизни котораго ровно катится по гладкимъ рельсамъ... Счастливый пассажиръ земного шара!

И вдругъ сильное сотрясеніе: столкновеніе съ далекимъ прошлымъ...

Въ числѣ ѣхавшихъ съ нами пассажировъ была довольно миловидная дама, съ интереснымъ лицомъ и необыкновенными глазами. Нельзя сказать, чтобы она была красива, но было въ ней нѣчто исключительное, что возбуждало къ ней симпатію и любопытство. Эта дама обворожила нашихъ ребятишекъ, кормила ихъ сластями и фруктами и посматривала украдкою на мою

жену какими-то изумленными глазами. Такъ присматриваются къ тѣмъ встрѣченнымъ случайно людямъ, въ которыхъ заподазриваютъ своихъ давно потерянныхъ знакомыхъ...

Выхожу какъ-то въ рубку: эта пассажирка уже около моей жены. Оживленно болтаютъ, словно давно были знакомы. Я не придалъ этому никакого значенія: женщины быстро знакомятся и сходятся другъ съ другомъ.

— Позволь тебя познакомить! — говоритъ жена и, конечно, сама не знаетъ ни фамиліи, ни имени рекомендуемой особы. Я пожалъ протянутую руку и подсѣлъ. Обмѣнялся съ ней нѣсколькими шаблонными дорожными репликами. Жена пошла поиграть на пьянино, а мы остались. Неожиданно дама называетъ меня по имени и отчеству и спрашиваетъ:

— Давно не были въ Новодѣвичьѣ?

— Гдѣ?

Она повторила вопросъ, улыбнулась и сказала:

— У насъ съ вами тамъ есть общая знакомая...

Я смутился и покраснѣлъ. Больше: я испугался, не зная, чего...

— Кто же?

— Авдотья Степановна.

— А вы? Вы тоже оттуда?

— Неужели не узнаете? Помните хотя немного дѣвушку, которую звали Полянкой? Вы не смущайтесь! Вы-то меня давно забыли, а я никогда не теряла васъ изъ виду и до сихъ поръ чувствую къ вамъ глубокую признательность. Только вамъ я обязана...

Она не нашла подходящаго слова и оборвала фразу.

— Я сдѣлалась учительницей и много лѣтъ работала въ земскихъ школахъ. Теперь, вотъ уже пять лѣтъ, какъ я отошла отъ школы. У меня свои дѣти, трое. Если вамъ случится быть въ Симбирскѣ, — можетъ

быть, сдѣлаете намъ честь и загляните къ бывшей Полянкѣ... Вотъ нашъ адресъ!

Она вынула изъ сумочки визитную карточку и положила на столъ, ко мнѣ. Но тутъ подошла жена и онѣ заговорили о чемъ-то. А я схватилъ карточку и ушелъ въ каюту. На карточкѣ значилось:

Иванъ Петровичъ Голубинскій.
Инспекторъ народныхъ училищъ.

Нехорошо мнѣ стало. Приливъ къ головѣ. Лицо горѣло, въ вискахъ звенѣло, кружилась голова. Прилегъ на койку, закрылъ глаза и поплылъ куда-то...

Сперва мое сознаніе таяло въ туманахъ и предъ закрытыми глазами, въ бѣшенномъ вихрѣ, мчались облака, тучи, а потомъ все просіяло, заголубѣло, зазеленѣло и вдругъ всплыло Новодѣвичье, все въ цвѣтущихъ садахъ, голубые купола, машущіе мнѣ крыльями мельницы и надъ ними — бездонная синева небесъ!.. Потомъ — набитая народомъ пароходная пристань и на ней три дѣвушки, одна изъ которыхъ протягиваетъ мнѣ ландыши съ незабудками...

Симбирскъ былъ ночью. Мы спали...

Городокъ.

РАЗСКАЗЪ.

...Вотъ вы, столичные люди, провинціаловъ презираете и такъ разсуждаете, будто мы, провинціалы, — и не люди совсѣмъ, а такъ въ родѣ какъ насѣкомые. А я вамъ скажу, что люди — вездѣ — люди, а въ маленькихъ городкахъ они даже много интереснѣе: у васъ, въ столицахъ, — всѣ на одинъ фасонъ, всѣ подъ одну гребенку подстрижены; душа-то у васъ такъ запрятана, что и не видать ея совсѣмъ, а у насъ, провинціаловъ, она всегда на распашку и при томъ — во всей натуральности, у насъ что ни человѣкъ, то — на особицу...

— Вотъ хотя бы нашъ городокъ. Дѣйствительно, ни въ исторіи, ни въ географіи про него ничего не написано. Такъ, дескать, хлѣбная пристань на Волгѣ и кончено. Однако, не единымъ же хлѣбомъ живъ человѣкъ. Даже обидно: на картѣ маленькій черненькій кружочекъ поставленъ, въ родѣ какъ муха погуляла и памятку свою поставила, а названіе обозначено такими крохотными буковками, что и прочитать невозможно. Географіи — эти про самое главное забываютъ: про человѣка, про вѣнецъ творенія Божьяго.

— Да-съ, пожить надо самому на мѣстѣ, тогда только и поймешь, что въ каждомъ Божьемъ городкѣ непремѣнно есть много замѣчательнаго, что ни историки ни географы во вниманіе не принимаютъ... Я вотъ доста-

точно пожилъ и скажу прямо: конечно, дураковъ вездѣ больше, чѣмъ умныхъ, были они и у насъ. Но и дураки и всякое безобразіе свой смыслъ и свое оправданіе имѣютъ: рядомъ съ глупостью и безобразіемъ ярче умъ и красота сіяютъ. Почему же я долженъ судить о городѣ и презрѣть его изъ-за дураковъ и безобразій. Господь вонъ соглашался изъ-за трехъ праведниковъ два города Содомъ и Гоморру пощадить. Умъ и красота, господа, никогда мѣстомъ не стѣсняются. Ну, и у насъ въ городкѣ было кое-что кромѣ дураковъ и хлѣбныхъ амбаровъ съ крысами...

— Конечно, давно это было и, какъ говорится, быльемъ заросло, при томъ же я былъ молодымъ человѣкомъ, а молодости свойственно ошибаться, однако дожилъ я до сѣдой бороды и до потери гибкости во всѣхъ членахъ, спросите меня, — чѣмъ былъ замѣчателенъ нашъ городокъ въ старые времена, я и теперь скажу: многими замѣчательными людьми, какъ мужского, такъ и женскаго пола; среди первыхъ были люди ума и образованности, люди душевной красоты, а среди вторыхъ — красавицы перваго сорта и высокихъ женскихъ добродѣтелей. И передъ ними отмѣченные въ географіи хлѣбные амбары не заслуживаютъ никакого вниманія... Начну изъ деликатности съ женскаго пола. Всю, почитай, матушку-Россію я изъѣздилъ въ своей жизни, а такой дѣвицы, какъ Леночка Боголюбова, дочка соборнаго благочиннаго, нигдѣ и никогда больше не видывалъ. И могу со вздохомъ сказать: изъ-за этой красоты я на всю жизнь холостымъ остался, сколько случаевъ было предложеніе сдѣлать и согласіе на бракосочетаніе получить, а вспомню Леночку Боголюбову, примѣрку на нее сдѣлаю и желаніе отходитъ, опять на поиски. Такъ и проискалъ до сѣдой бороды. А между нами говоря, если бы не несчастный случай, такъ... Объ этомъ, впрочемъ, рѣчь впереди... Ну, и другія имѣлись. Молодая попадья отъ „Варвары-великомученицы“, на-

примѣръ, Глафира Никодимовна. Или дочка исправника Ниточка Варягина, или взять хотя бы дочь купца Расторгуева, Капитолину Ивановну... Конечно, вкусы у людей разные. Но относительно Леночки Боголюбовой всѣ наши настоящіе цѣнители красоты сходились и иначе, какъ Прекрасной Еленой ее не называли. Да что тамъ цѣнители, — всѣ жители мужского пола, непотерявшіе чувствительности къ прекрасному, проходя мимо дома отца благочиннаго, посматривали: не выглянетъ-ли въ окошечко златокудрая и синеокая Леночка. Изъ истинныхъ цѣнителей красоты только одинъ Платонъ Фаддѣичъ Поповъ, смотритель уѣзднаго училища, попадью отъ „Варвары-великомученицы“ выше ставилъ и по праздникамъ къ обѣднѣ не въ соборъ, а туда ходилъ, но и то, какъ я подозрѣваю, изъ одного упрямства. Особое мнѣніе любилъ! Бывало, сцѣпятся они съ учителемъ исторіи и географіи, Пантелеймономъ Алексѣевичемъ Іероглифовымъ (человѣкъ, можно сказать, всемірнаго образованія!), такъ только перья летятъ:

— Позвольте-съ, Платонъ Фаддѣичъ!

— Извольте, Пантелеймонъ Алексѣевичъ!

— Признаете вы, что самая красивѣйшая женщина во всемъ мірѣ и во всѣ вѣка была и пребудетъ Елена Прекрасная, изъ-за которой Троя погибла?

— Допустимъ! — говоритъ Платонъ Фаддѣичъ, а самъ, какъ ершъ ощетинится и на лицѣ полное противорѣчіе: согласился, а самъ ждетъ, чтобы зацѣпиться за какое-нибудь словцо и противника на клочки, какъ говорится, разорвать. — Допустимъ!

— А насколько извѣстно, эта божественной красоты женщина была не брюнетка, а чистокровная блондинка... и вообще я долженъ сказать, что идеалъ женской красоты—именно блондинка съ голубыми глазами, то есть типъ именно Леночки Боголюбовой, а не брюнетки Глафиры Никодимовны...

Вотъ тутъ Платонъ Фаддѣичъ и наскочитъ съ научной точки зрѣнія:

— Это, говоритъ, не доказано — и ручки въ брючки засунетъ, да на каблучкахъ начнетъ покачиваться, а на лицѣ ехидная улыбка.

— То есть что не доказано.

— А не доказано ваше голословное утвержденіе, что Елена Прекрасная была блондинка!

Ну, тутъ ужъ мы всѣ на него, какъ на чужую собаку, разомъ набрасывались: ужъ не могу сказать, откуда у насъ такое историческое убѣжденіе было, но всѣ мы твердо были увѣрены, что Елена Прекрасная была блондинка чистѣйшей воды:

— Вы, Платонъ Фаддѣичъ, всемірному факту противорѣчите! Это даже недобросовѣстно со стороны образованнаго человѣка, какимъ вы себя заявили...

А онъ свое:

— Докажите путемъ историческихъ документовъ!

Ну, а какіе-же тутъ документы? Гдѣ ихъ въ нашемъ городѣ достанешь?

— Ну, а разъ вы, господа, документовъ не имѣете, ваше утвержденіе столь-же голословно.

Однако, когда этотъ споръ повторился на именинахъ у господина Іероглифова, даже крупная ссора вышла: я подоткнулъ таки Платона Фаддѣича! Выпилъ я тогда и, конечно, осмѣлѣлъ. Хотя я въ гимназіи до пятаго класса и дошелъ, но въ трезвомъ состояніи понималъ, что не мнѣ лѣзть въ споры съ такимъ образованнѣйшимъ человѣкомъ, какъ Платонъ Фаддѣичъ. Ну, а выпилъ — сами понимаете — на „ура“, какъ говорится, пошелъ:

— Вы, говорю, документъ требуете? Отлично! Я въ гимназіи и греческій и латинскій языки изучалъ и вотъ, господа, публично заявляю: въ „Иліадѣ“ у господина Гомера Елена Прекрасная златокудрой“ названа! Дальше идти некуда, говорю, а между тѣмъ и самъ не

знаю: вру я или вспомнилъ историческій фактъ. Смотрю: Платонъ Фаддѣичъ замялся. Тогда я еще надбавилъ:

— Что-же, спрашиваю, и самого Гомера опровергаете? Современника?

Платонъ Фаддѣичъ покашлялъ — даже въ горлѣ у него отъ неожиданнаго научнаго удара пересохло — и говоритъ, поигрывая отъ волненія своей золотой цѣпочкой съ брелочками:

— Допустимъ, что даже и документъ имѣется. Однако у всякаго свой вкусъ и свой обращикъ: одинъ любитъ арбузъ, а другой свиной хрящикъ...

Не могу вамъ сказать, до чего сильно оскорбила меня эта неумѣстная пословица, примѣненная въ нашемъ спорѣ! Собственно не лично меня. Себя я защитилъ моментально, въ два слова:

— Я люблю, милостивый государь, какъ арбузъ, такъ равнымъ образомъ и свиной хрящикъ!

Но оскорбился я всего больше за вылазку Платона Фаддѣича противъ моего идеала въ образѣ Леночки Боголюбовой:

— Разъ вы, говорю, утверждаете, что предъ нами арбузъ и свиной хрящикъ, то позвольте, за отсутствіемъ беззащитныхъ женщинъ, спросить васъ, кого вы называете арбузомъ и кого свинымъ хрящикомъ. Подъ какую рубрику вы относите Леночку Боголюбову?

Не знаю, какъ-бы оно вышло, если-бы Платонъ Фаддѣичъ искренно подтвердилъ, что именно Леночку Боголюбову онъ разумѣлъ въ образѣ свиного хрящика. Но, видя мое напряженное и рѣшительное выраженіе лица, онъ ретировался:

— Не ту, говоритъ, и не другую, а наши вкусы.

— Разъ вы утверждаете, что мой вкусъ — свиной хрящикъ, между тѣмъ какъ вамъ извѣстно, что мой идеалъ — Леночка, значитъ вы приравниваете именно ее къ свиному хрящику. За подобныя слова порядочныхъ людей бьютъ по физіономіи...

Но тутъ насъ схватили и растащили въ разныя стороны, а потомъ Платонъ Фаддѣичъ всѣмъ доказывалъ мою нелогичность: онъ, дескать, не утверждалъ, что самъ любитъ арбузъ, а что я — свиной хрящикъ и что въ данномъ случаѣ оскорбленіе недоказуемо. Хотя насъ заставили чекнуться и одновременно выпить за обѣихъ женщинъ, а въ дополненіе и вообще за всѣхъ женщинъ, блондинокъ, брюнетокъ и шатенокъ, лишь-бы въ нихъ запечатлѣлась красота созданія, однако мы потомъ цѣлую недѣлю не разговаривали. Предметы раздора, можно сказать, послужили и къ нашему примиренію. Какъ-то я гулялъ съ Леночкой Боголюбовой, а Платонъ Фаддѣичъ—съ Глафирой Никодимовной. Встрѣтились и все неожиданно смягчилось: улыбнулись другъ другу, а когда Леночка съ Глашенькой поцѣловались,— и мы другъ другу руку протянули. И стали разговаривать съ взаимнымъ уваженіемъ, попрежнему:

— Денекъ-то какой? — сказалъ я.

— Красота неописуемая!—отвѣтилъ Платонъ Фаддѣичъ и научно такъ добавилъ:

— Слѣдуетъ цѣнить красоту во всевозможныхъ видахъ, формахъ и образахъ, и кто можетъ утверждать, что земля красивѣе небесъ или что небеса могутъ замѣнить намъ землю? Всѣ мы одинаково тяготѣемъ, какъ доказано Лапласомъ, къ землѣ, а духомъ и очами, какъ говоритъ Кантъ, возносимся къ звѣзднымъ небесамъ...

— Днемъ звѣздъ не бываетъ! — сказала со вздохомъ Глафира Никодимовна, но увертливый Платонъ Фаддѣичъ объяснилъ:

— Звѣзды сіятъ на небесахъ во всякое время и во всякій часъ. Стоитъ только сейчасъ залѣзть въ глубокую яму и мы увидимъ ихъ, какъ видимъ ночью.

Когда Платонъ Фаддѣичъ говорилъ о „любви къ красотѣ во всякой формѣ и во всѣхъ видахъ“, я сейчасъ-же раскрылъ тайный смыслъ его словъ и въ душѣ вполнѣ согласился, что сколь прекрасны небесно-синія

очи Леночки, столь-же хороши и земно-огненные темные глаза Глафиры Никодимовны, а Платонъ Фаддѣичъ, окончивъ про звѣзды на небесахъ, задумчиво покрутилъ тросточкой съ серебряннымъ вензелемъ и произнесъ очень мечтательно:

— Если-бы я былъ мусульманиномъ, я имѣлъ-бы только двухъ супругъ: брюнетку и блондинку!

А Глафира Никодимовна засмѣялась и сказала:

— Бодливой коровѣ Богъ рогъ не даетъ...

Однако Платонъ Фаддѣичъ очень тонко отразилъ женскій ударъ:

— Да, ваша правда, говоритъ, рогъ не имѣю, ибо они даются намъ въ приданное къ женщинѣ...

Эта черезчуръ смѣлая для чистой дѣвушки проблема заставила Леночку Боголюбову густо покраснѣть и опустить глаза въ землю. Боже мой, какъ она была въ эту незабвенную минуту прекрасна! Между тѣмъ, скользнувши по лицу Глафиры Никодимовны, я примѣтилъ лишь лукавыя искорки въ глазахъ и шаловливость въ полныхъ губахъ. Вотъ, думаю, какая разница обнаружилась сразу между нашими идеалами и между красотой земной и небесной. Поджала Глашенька губы сердечкомъ... (Вы ужъ извините, что я буду называть даму, чужую жену при этомъ, — Глашенькой: этимъ я не хочу указать на какую-либо интимность въ нашихъ отношеніяхъ, а просто для сокращенія разговора!). Такъ вотъ поджала она губки сердечкомъ и, какъ говорится, пустила шпилечку въ адресъ своего кавалера, въ его, такъ сказать, Ахиллесову пятку:

— Теперь понятно, почему вы боитесь жениться.

Платону Фаддѣичу надо-бы ужъ воздержаться отъ щекотливаго разговора, а ему, какъ говорится, возжа подъ хвостъ попала: брыкаться началъ:

— Вашего сравненія съ бодливой коровой не принимаю, ибо холостъ, а рога суть отличіе законныхъ супруговъ. Имъ я и уступаю это удовольствіе, рога то-есть!

Вижу: обѣ дамы наши въ лицѣ измѣнились: Леночка поблѣднѣла, а Глашенька губки надула. Непріятно, конечно, слышать такое голословное мнѣніе холостого человѣка о своемъ полѣ. Молчаніе наступило между нами, а я рѣшилъ смягчить этотъ непріятный моментъ.

— Всякія жены, говорю, бываютъ и не всѣ мужья съ рогами ходятъ. А, если правду говорить, такъ вотъ что: если-бы сдѣлать на этотъ счетъ правильную земскую статистику, такъ и оказалось-бы, что процентъ рогатыхъ женъ вдвое больше рогатыхъ мужей, а только мужчина умѣетъ хорошо всѣ концы своего поведенія въ воду прятать...

Леночка платочекъ обронила и отстала: женская хитрость, — не пожелала такого щекотливаго разговора выносить, а Глашенька и говоритъ очень серьезно:

— Надо бы, Платонъ Фаддѣичъ, всетаки поосторожнѣе выражаться. Леночка, правда, тутъ не причемъ, потому что дѣвица еще и рога къ ней никакъ не относятся, но, во-первыхъ, для дѣвицъ неподходящій совсѣмъ разговоръ, а во-вторыхъ, — съ вами идетъ замужняя женщина, такъ что про рога-то эти какъ будто-бы...

Попалъ, думаю, голубчикъ, какъ куръ во щи! Какъ теперь вывернешься? Такъ что вы думаете?.. Ну, и остроумный-же находчивый человѣкъ! Что значитъ образованность!

— Во-первыхъ, говоритъ, о присутствующихъ не говорятъ, а во-вторыхъ, это духовнаго званія совершенно касаться не можетъ и въ этомъ смыслѣ, говоритъ, вы, Глафира Никодимовна, жена Цезаря!

— Что такое? Какъ жена Цезаря? Вамъ хорошо извѣстно, чья жена я...

— Не подлинная жена Цезаря, а подобны женѣ Цезаря, которая въ исторіи числится внѣ всякихъ подозрѣній. Про нее говоря по-латински, аутъ бене, аутъ нигиль!

Глашенька смутилась и, пожавши плечиками, сказала:

— То-то-же... Вообще прошу поосторожнѣе въ выраженіяхъ! А на лицѣ улыбка и удовольствіе: понравилось, что съ супругой Цезаря ее сравнилъ.

Ну, до чего ловокъ, хитеръ и увертливъ нашъ Платонъ Фаддѣичъ! А вѣдь, вотъ тоже житель нашего города. Какъ-же можно говорить, что нашъ городъ ничѣмъ не замѣчателенъ, кромѣ какъ хлѣбными амбарами и крысами? Такой человѣкъ и въ столицѣ многихъ за поясъ заткнетъ. Возьмемъ опять таки молодого батюшку въ храмѣ „Варвары-великомученицы", супруга Глашеньки. Прямо, можно выразиться, божественный человѣкъ. Какая духовная красота совмѣстно съ тѣлесной, какая подлинно ангельская кротость, какое смиреномудріе и безсребрянность! Поищите-ка въ разныхъ извѣстныхъ городахъ, въ столицахъ! Изъ-за такихъ именно праведниковъ Господь Содомъ и Гомморъ щадитъ! Стыдливая женственность и умиленность. И при томъ-же рыбарь, рыбакъ по призванію, подобно первымъ апостоламъ. Боюсь, что это кощунственно съ моей стороны, но при видѣ отца Константина, я всегда любимаго ученика Христова, Іоанна, вспоминаю. Однако, простите ужъ — всѣ мы во грѣхахъ погрязли — и грѣховное на мысли одновременно приходитъ: когда я видѣлъ отца Константина рядышкомъ съ законной супругою, то прямо дивился, какъ такой богоносный, можно сказать, человѣкъ возлюбилъ и сочетался съ грѣховностью мірскою. Не подумайте, что я имѣю скрытое намѣреніе опорочить поведеніе Глашеньки. Ни Боже мой! Не въ примѣръ другимъ, я ничего худого сказать про эту женщину не могу, но говорю лишь про видимость. А видимость тѣлесная у ней была совершенно лишена святости, отъ природы. Она, конечно, не виновата, что такою сотворена отъ рожденія. Все въ ней напоминало о первомъ человѣческомъ грѣхопаденіи, намъ мужчи-

намъ, конечно. Она и пококетничать, и потанцевать полечку съ фигурками, и веселыя пѣсенки на святкахъ попѣть, и глазомъ въ проходящаго офицерика стрѣльнуть, и по послѣдней модѣ пріодѣться, шляпку какую-нибудь съ перомъ отъ „Жаръ-птицы“ и перчаточки... Вся мірская, земная, суетная, и думается мнѣ, что про небеса даже и во снахъ не интересовалась. По гостямъ любитъ ходить и рюмочку наливочки вишневой другой разъ, зажмуривъ глазки, проглотитъ и губки облизать, какъ кошечка послѣ сливочекъ. А отецъ Константинъ отъ всякаго грѣха сторонился, по гостямъ не ходилъ, хмѣльного въ ротъ не бралъ, скоромное только въ положенные дни употреблялъ и вообще точно на землѣ между прочимъ и не надолго. Съ виду совсѣмъ они неподходящими другъ для друга были, а вотъ поди: жили безъ сучка, безъ задоринки! Ни ссоръ, ни грубаго слова, даже никогда и не посердятся другъ на дружку. Однимъ словомъ — замѣчательная парочка. Непостижимое для насъ возсоединеніе земного съ небеснымъ. Однако, человѣкъ всегда человѣкомъ останется. Даже святые угодники земныя слабости имѣли и непрестанно боролись съ таковыми. Тѣмъ паче отецъ Константинъ, человѣкъ молодой, второй годъ только священствовавшій. Слабости, впрочемъ, довольно простительныя даже и для священника: гитару и рыбную охоту очень ужъ любилъ! На гитарѣ, конечно, больше божественное игралъ и баритономъ, такимъ умиленнымъ и бархатнымъ подпѣвалъ, что иной разъ прямо слезу прошибалъ, хотя я, напримѣръ, трудно, вообще поддаюсь умиленію божественному и больше цыганское люблю послушать. А поди вотъ, какъ, бывало, отецъ Константинъ запоетъ псаломъ Давыдовъ „Камо пойду отъ Духа Твоего“, капаетъ слеза и кончено! Не остановишь. Поетъ словно рыдаетъ человѣкъ въ безсиліи своемъ человѣческомъ! Некуда дѣться! Глашенька тоже играла на гитарѣ, но она только и знала, что полечку да маршъ персидскій,

а больше такъ пальчиками тонкими кокетничала. За то на пьянинѣ хорошо упражнялась. По случаю у станового купили. Хотя два лада не играли, а видно сразу было, что тутъ она — на своемъ мѣстѣ: звону и грохоту, бывало, на всю улицу и всѣ проходящіе послушать останавливались. Всякихъ Шопеновъ и Шубертовъ могла. Глядишь на руки и словно ихъ штукъ пять у ней: во всѣ концы поспѣваетъ. Извините, началъ про отца Константина да опять на Глашеньку свернулъ. Съ сюжета, какъ говорится, соскочилъ... Такъ про слабости-то. Рыбная ловля -- главная, если гитарѣ значенія не придавать. Вотъ ужъ вѣрно сказано: охота пуще неволи! Тоже какъ — въ родѣ Ахиллесовой пятки у отца Константина была эта рыбная ловля. Нечего грѣхъ таить: иной разъ батюшка для этой охоты готовъ былъ и божественное на второй планъ поставить. Пріѣдутъ изъ деревни пригородной за батюшкой — исповѣдовать тамъ больного, что-ли, а онъ — за Волгой на рыбалкѣ вмѣстѣ съ гитарой и съ супругою. Конечно, эту, страсть, человѣческую слабость, отъ постороннаго глазу приходилось прикрывать. Однако, у города и глазъ и ушей — великое множество и къ тому-же на чужой ротокъ не накинешь платокъ. А главное — сама Глашенька въ этомъ случаѣ осторожность не соблюдала. Съ лицомъ духовнаго званія съ ночевой за Волгу и къ тому-же съ гитарой! Ѣдутъ на лодочкѣ вечеромъ. Тишина. По вечерней зорькѣ по тихой водѣ далеко слышно: трень да брень, а на встрѣчу въ лодкѣ съ луговъ косцы, мужики съ бабами. И видятъ: батюшка на веслахъ въ исподнемъ, въ одной соломеной шляпѣ на головѣ, а на кормѣ — попадья съ гитарой, — трень да брень. Разя простой человѣкъ повѣритъ, что тутъ безгрѣшное время препровожденіе, а не грѣхопаденіе? Ну, и начнутъ наши мѣщане по городу языками чесать. Да еще и прибавятъ: выпимши, дескать и оба голые. Сочинять-то всѣ мы мастера. А, вѣдь среди народа православнаго, не въ

обиду будь сказано, мало-ли святошъ, которые у себя въ глазу бревна не замѣчаютъ, а у ближняго своего и малый сучецъ въ осужденіе ставятъ? А главное: очень молодъ ужъ былъ отецъ Константинъ и потому плохо въ его святость вѣрили жители и все за нимъ примѣчали и всякое лыко, какъ говорится, въ строку ставили. Зачѣмъ по вечерамъ иной разъ подъ ручку съ попьдьей ходитъ? Зачѣмъ на гитарѣ упражняется? Зачѣмъ попадьѣ модную шляпку дозволяетъ? И почему музыка въ поповомъ дому на всю улицу громыхаетъ? Соблазнъ, видители, для нихъ, блюдущихъ чистоту и непогрѣшимость. Душа безпрерывно въ грязи, какъ свинья, роется у самихъ-то, а они съ больной головы на здоровую. Вотъ ужъ тутъ нашъ городокъ дѣйствительно прихрамывалъ. А и то сказать: помойныя ямы въ каждомъ городу есть, гдѣ помельче, гдѣ поглубже, а вѣдь, вонь то одинаковая! Публика однимъ словомъ! Каждаго въ отдѣльности разсмотришь: ничего, приличный и даже добрый человѣкъ, а какъ очутится въ публикѣ, то и смотри, чтобы не подпакостилъ. Особливо въ любовныхъ дѣлахъ. Тутъ всякій съ своимъ рыломъ суется, куда его не просятъ, и норовитъ всю подноготную взрыть и посмѣяться надъ идеальными чувствами твоими. Ужъ на что я, напримѣръ, какъ говорится, ничѣмъ и никогда себя въ женскомъ вопросѣ не запятналъ, а у публики не выходилъ изъ подозрѣнія и главное — куда камешки-то бросали? Возмутительно сказать. Въ батюшкинъ огородъ! То есть относительно нравственности Глафиры Никодимовны. И это въ то время, какъ я публично, всѣмъ своимъ поведеніемъ, доказывалъ, что мой идеалъ — Леночка Боголюбова. Обожая эту дѣвицу, я никогда никакихъ претензій на вниманіе со стороны супруги отца Константина не заявлялъ, а если частенько у нихъ бывалъ, то во-первыхъ, — по медицинскимъ соображеніямъ (я былъ земскій фельдшеръ и зубы великолѣпно рву), а во-вторыхъ, — изъ страсти моей къ рыболовству, а вовсе не

Глашенькѣ. Съ малыхъ лѣтъ я къ этому удовольствію пристрастился и, конечно, сдружился на этой почвѣ, то есть на рыбной, съ отцомъ Константиномъ. Рыбакъ рыбака, какъ говорится, видитъ издалека, а мы „навизави“ жили, такъ что изъ окна въ окно лѣтомъ разговаривали. А потомъ я — человѣкъ одинокій. Тоскуешь иной разъ, размышляя о невозможности пожать тонкую женскую руку, и вдругъ изъ раскрытыхъ оконъ попова дома загрохочетъ музыка на всю улицу и начнетъ тебѣ душу бередить. Всякія бредни о счастіи, котораго на мою долю, видно, не было заготовлено. Ну, схватишь шляпу и маршъ черезъ улицу, въ домъ музыкальной волшебницы — послушать этихъ Шопеновъ и Шубертовъ и поглядѣть, какъ женскія ручки по ладамъ инструмента скачутъ другъ за дружкой, словно въ горѣлки играютъ... А кстати и относительно рыбалки съ отцомъ Константиномъ условишься: когда и куда въ ближайшую очередь двинемся? У отца Константина — и лодка, и снасти, и подпуска. Полное оборудованіе. Однимъ словомъ — дружба на рыбной подкладкѣ, а ужъ совершенно не на романической. А вотъ что касается Платона Фаддѣича, такъ у того дѣйствительно рыльце въ пушку было. И всего обиднѣе, что про меня болтаютъ, а онъ — въ сторонкѣ. Слѣпота-то человѣческая! Я-то его давно раскусилъ и насквозь всѣ его хитрости видѣлъ, а прочіе, а въ томъ числѣ и самъ отецъ Константинъ, и усомъ не вели. Въ своемъ любовномъ дѣлѣ этотъ человѣкъ хитрѣе лисы былъ. Любителемъ рыболовства прикинулся и къ нашей компаніи припаялся исключительно для ради возможностей ближайшаго соприкосновенія съ духовнымъ домомъ и чрезъ то — съ своимъ идеаломъ красоты, а понятнѣе сказать — съ Глашенькой. И опять скажу: хитрѣе этого образованнѣйшаго ухажера и въ столицѣ не отыщешь!..

Книгу господина Аксакова про рыболовство купилъ и по ней всю рыбную біографію до тонкости

изучилъ. Своей рыбной образованностью окончательно обворожилъ отца Константина. Начнетъ, бывало, молоть относительно рыбьей жизни, такъ только уши разѣвай! Со стороны послушать, — словно онъ самъ въ рыбьемъ званіи побывалъ. Какъ и гдѣ рыба живетъ, какія мѣста любитъ, что кушаетъ, какъ любовными дѣлами занимается, — все разскажетъ. Характеръ и поведеніе каждой рыбины. Однажды Глашенька слушала-слушала да и говоритъ:

— Видно, вы, Платонъ Фаддѣичъ, раньше какой-нибудь рыбой были?

А тотъ хорошо зналъ, что Глашенька стерлядку любитъ, и отвѣчаетъ:

— Я до своего человѣчества вь Сурѣ-рѣкѣ стерлядью плавалъ.

А я, человѣкъ прямой, не удержался, видя какъ ловкій ухажеръ свои дѣлишки обдѣлываетъ:

— По моимъ соображеніямъ, говорю, Платонъ Фаддѣихъ неиначе какъ щукой былъ! А потомъ въ сторону святого человѣка нашего, отца Константина, поглядѣлъ и добавилъ:

— На то и щука въ морѣ, чтобы карась не дремалъ.

Однако святой человѣкъ ничего не понялъ по чистотѣ своихъ чувствъ, а Глашенька, видимо, смекнула: залилась звонкимъ хохотомъ, а потомъ — къ инструменту и стала музыкальнымъ грохотомъ отвлеченіе щекотливому разговору дѣлать. Серенаду Шуберта закатила: „И никто, о другъ мой милый и пр.“ Музыка музыкой, а Платонъ Фаддѣичъ наклонился къ моему уху и шепчетъ:

— Бываютъ на свѣтѣ ерши колючіе, а щука все-таки и ерша можетъ проглотить. Съ хвоста они глотаются...

Надо вамъ сказать, что видимость дружбы у меня съ Платономъ Фаддѣичемъ соблюдалась, однако мы оба чувствовали оттолкновеніе душевное и даже тѣлесное

другъ отъ друга. И Богъ знаетъ, по какой причинѣ. Только не изъ-за женскаго пола! Ни Боже мой! Тутъ, какъ говорится, дѣлить намъ было нечего: разные идеалы красоты. Однако съ его стороны ко мнѣ непріязнь, какъ я наблюдалъ, проистекала и по женской линіи. Есть такіе мужчины: лежитъ собака на сѣнѣ, и сама не ѣстъ, и другимъ не даетъ. Именно такой породы онъ былъ. Царствовать самодержавно между всѣми кавалерами нашего города желалъ, и тутъ никакой конституціи не признавалъ, а между тѣмъ самыхъ либеральныхъ взглядовъ придерживался и даже тайно въ „кадетской партіи“ состоялъ. Никакихъ соперниковъ въ женскомъ вопросѣ не терпѣлъ, а жениться — мерси боку! Пожилыя дамы нашего общества частенько его подъ обстрѣлъ брали: такой, дескать, вы, Платонъ Фаддѣичъ, любитель женскаго полу, въ годкахъ уже и при томъ съ положеніемъ, за всѣми молодыми дамами и дѣвицами ухаживаете, а приличныхъ предложеній никому не дѣлаете. А онъ покашляетъ и скажетъ:

— Не перебѣсился еще.

— Долго-ли-же вы бѣситься еще предполагаете?

Приперли его такъ однажды почтенныя особы въ клубѣ, на семейномъ вечерѣ, а онъ такой козырь и выкинулъ: изучаю, дескать, я естественныя науки и намѣренъ сразу на третій курсъ университета поступить и потомъ по научной дорогѣ. И когда курсъ окончу, тогда немедленно и подругу жизни изберу...

А надо правду сказать: женихъ онъ былъ у насъ для очень многихъ дѣвицъ завидный и ревность между собой весьма многими проявлялась. Многія мамаши и дочки зарились, да разя такого хахаля ухватишь? Какъ налимъ въ рукѣ! Склизкій и вертлявый. Особенно мечтала о немъ дочка купца Расторгуева, Капитолина Ивановна... Хлѣбные лобазы и мучная торговля, собственный буксирный пароходъ „Самсонъ“ и легкій—„Стрѣла“, до Симбирска и обратно бѣгаетъ! Можно сказать —

находка, а не невѣста. Хлѣбная крыса и при томъ дѣвица въ полномъ расцвѣтѣ всѣхъ цѣломудренныхъ прелестей перваго сорта, со сверканіемъ брилліантовъ въ ушахъ, на шеѣ, на всѣхъ, почитай, пальцахъ и особенно на возвышенной груди! Сколько конкурентовъ изъ мучной торговли къ ней присватывались, — всѣмъ отказъ: родители образованнаго и благороднаго человѣка желаютъ, а стороной, черезъ просвирню, Платону Фаддѣичу намеки дѣлаютъ: пусть, дескать, дерзаетъ, отказа не будетъ. И всѣмъ про это въ городѣ извѣстно было. Любой съ руками ногами такую невѣсту оторвалъ-бы, а Платонъ Фаддѣичъ дуракомъ прикинулся, будто это дѣло къ нему не относится и полной безчувственностью на всѣ намеки отвѣчалъ. А въ Капитолину Расторгуеву нашъ историкъ и географъ уѣзднаго училища былъ по самую маковку влюбленъ и, какъ человѣкъ тоже достаточно образованный, зная что Расторгуевы на Платона нацѣлились, не рѣшался въ домъ къ нимъ съ рукой и сердцемъ подъѣхать: афронтъ получишь. И отъ этого тайно возненавидѣлъ своего начальника, стоявшаго поперекъ дороги рѣдкому счастію. Вотъ онъ-то и пустилъ въ обращеніе по городу касательно „собаки, которая на сѣнѣ лежитъ“. Истиной-же причины Платоновскаго безчувствія къ прелестямъ Капитолины Іероглифовъ не понималъ. Не догадывался, что собака-то на поповомъ дворѣ, такъ сказать между нами, зарыта. По простотѣ своей историкъ и географъ слухамъ вѣрилъ, что не Платонъ, а я намѣренія мужскія касательно молодой попадьи отъ „Варвары-великомученицы“ имѣю. Теперь я такъ соображаю, что самъ-же Платонъ Фаддѣичъ и замутилъ воду вокругъ попова дома и самому себѣ изъ меня любовный щитъ тогда сдѣлалъ. Но недаромъ сказано мудрецами, что все тайное по минованіи временъ сдѣлается явнымъ. Такъ оно и вышло. На „Мать-Елену, царя Константина“, въ батюшкины именины на ту сторону Волги погулять да порыбачить компаніей поѣхали.

Незабвенный для меня день! Леночка Боголюбова тоже именинница была и ее съ нами отпустили... Іероглифовъ, Пантелеймонъ Алексѣевичъ, тоже за нами увязался. Про Платона Фаддѣича и говорить нечего: онъ всегда за юбкой Глашеньки, какъ мочалка, волочился. Значитъ, всѣхъ шестеро. Глашенька къ Расторгуевымъ ходила— просила Капитолину съ нами отпустить. Капитолина плакала, а не отпустили: ее строго держали въ безусловномъ цѣломудріи: разъ въ нашей компаніи трое холостыхъ, дѣвицѣ, дескать, рисковано. Что подѣлаете? Дикія понятія! Другой и женатый человѣкъ, а одинъ опаснѣе трехъ холостыхъ. Вонъ взять хотя-бы почтеннаго купца Еропкина Василія Петровича: свое семейство въ самъ-шесть, жена да четверо дѣтей, а каждый годъ къ крыльцу младенцевъ подкидывали! Мнѣ вотъ не подкидывали. Баба зря своего младенца не подкинетъ. Это какъ говорится, знаетъ кошка, чье мясо!.. Такъ вотъ и поѣхали. Бредень и наливочки захватили, котелокъ и прочее, чтобы рыбки побродить да подъ свѣжую уху именинниковъ поздравить: Елену и Константина. Пусть сами они хмѣльного не вкушаютъ, а мы должны обычай предковъ соблюдать. Вечерокъ выдался удивительный. Точно весь міръ застылъ отъ нѣжности въ закатныхъ колерахъ. Не шелохнетъ! Тишь, да гладь, да Божья благодать. День былъ жаркій, а тутъ отпустило и въ небесахъ благоволеніе и на земли миръ. Ѣдемъ точно на облакахъ: отраженіе въ зеркалѣ водъ. Прямо какъ въ раю. Отецъ Константинъ, конечно, на веслахъ, Іероглифовъ кормовымъ правитъ, а мы парочками: я — съ Леночкой, Платонъ — съ Глашенькой. Вся моя организація трепещетъ отъ радости, что сижу рядомъ со своимъ идеаломъ тайнымъ. Въ душѣ въ родѣ какъ на мандолинѣ играютъ. Посмотрю на Леночку и даже въ потъ ударитъ отъ быстраго кровообращенія. А Леночка вся въ бѣло-розовомъ, съ цвѣточками сиреневыми, а головка золотится, глаза какъ василечки. И столько въ

ней этой дѣвичьей скромности, что на десять дѣвицъ хватитъ и еще останется нашимъ дамамъ. Сижу и думаю: какъ къ этому созданію Божьему фамилія, Боголюбова, подходитъ! Прямо нѣчто божественное, ангелоподобное. Личико, въ сіяніи румянаго вечера, такое радостное и кроткое, что оторваться невозможно. Смотрѣлъ-бы всю свою жизнь и больше ничѣмъ не занимался. Ну, ей-Богу что-то совершенно неземное!

— Почему вы молчите? Скажите что-нибудь!— говоритъ вдругъ мнѣ Леночка.

И вотъ досада: въ разговорахъ съ другими дамами и дѣвицами я за словомъ въ карманъ не лѣзу. Пожалуй, даже мало уступлю въ этомъ и самому Платону Фаддѣичу. А вотъ тутъ, съ Леночкой, точно и самый даръ слова потерялъ. Не могу и не знаю что ей сказать. Словно лошадь стреноженная: словами-то скокъ! скокъ! а все на одномъ мѣстѣ. А почему? Леночкина красота всякую смѣлость мысли разрушаетъ Хочется необыкновенныя слова говорить, особенныя. Не какъ со всѣми прочими особами женскаго полу. А возвышенными словами и говорить надо что-нибудь возвышенное. А ничего возвышеннаго не придумаю. Начнешь возвышенными словами про погоду, про здоровье, про уху, про знакомыхъ, — и чувствуешь, что все это неподходящее къ твоимъ чувствамъ: въ чувствахъ умиленность красотою и мандолины играютъ, а слова летятъ, какъ чурбашки, когда мальчишки въ „городки“ играютъ... Вотъ когда я позавидовалъ образованности Платона Фаддѣича! Сколько угодно у него возвышенныхъ словъ на всѣ случаи человѣческой жизни. Скажетъ тоже, а выходитъ торжественно и болѣе чѣмъ прилично. Началъ, было говорить про свой знаменательный въ моей жизни день, когда я почитаю себя какъ бы на небеси, но Леночка не поняла и я запнулся и перескочилъ на темноватую тучку, что вылѣзала за Волгой, изъ-за лѣса.

— Не было-бы, говорю, дождичка...

Весь узоръ и разсыпался: пошло про зонтикъ, про калоши, про насморкъ...

Эхъ, къ землѣ насъ больно ужъ тянетъ! Начнешь съ облака, а кончишь калошей...

Однако я уклонился въ свои личныя чувства. Не про нихъ хотѣлъ разсказать, а про ту неожиданную непріятность въ обществѣ, которой омрачилась наша прекрасная прогулка.

Переѣхали Волгу и на пескахъ, подъ лѣскомъ, на стоянку стали. Песочекъ какъ золотая розсыпь. За день солнышко его накалило, — тепломъ дышетъ. Сосенки да березки изъ лѣса подъ бережокъ выбѣжали. Въ лѣсу, не дальше полуверсты — озеро раковое. Раки огромные, усатые, черные. Ну, и караси въ озерѣ фунта на два попадаются. Янтарные отъ жира, лѣнивые. Батюшка съ Іероглифовымъ захватили бредень, ведро и на озеро. Всѣмъ раковъ захотѣлось. Я за валежникомъ для костра пошелъ, а женщины — по хозяйству: скатерть-самобранку, самоваръ и прочее.

И вотъ случилось... это самое, ужъ затрудняюсь, какъ опредѣлить: срамное или божественное. Забрался я въ лѣсъ, закружился, набралъ валежнику — чуть волоку и обратно. Выхожу къ Волгѣ, однако не на стоянку нашу, а шаговъ такъ на сто отъ нее, гдѣ лѣсокъ почитай къ самой водѣ подбѣжалъ. Лѣзу тальниковымъ кустомъ напроломъ, а валежникъ за кусты цѣпляется, шумъ идетъ, словно медвѣдь продирается. Думаю: выберусь къ водѣ и самымъ бережкомъ до стоянки доберусь, чѣмъ лѣсомъ переть. И вотъ вылѣзъ и отъ страха и удивленія понять ничего не могу: стоитъ на бережкѣ вся розовая отъ солнышка заходящаго голая тонкая женщина необыкновенной красоты, золотыя волосы подъ платочекъ красный собираетъ. Такъ и застылъ я на мѣстѣ отъ этого видѣнія. Откуда взялась такая русалка? Кто такая? И тутъ метнулась въ глаза одежда женская на кустикѣ: бѣло-розовое платьице. Она! Она!

Леночка. Могъ-ли я даже во снѣ увидать подобное! Милая! Божественная... Купаться вздумала. Что-же, думаю, мнѣ дѣлать? Если назадъ въ лѣсъ полѣзть, можетъ увидать и подумать, что я умышленно тутъ, подглядываю. Ужъ лучше спрятаться и пролежать, покуда она не искупается и не уйдетъ. Упалъ на мѣстѣ, въ тальникахъ и затаилъ духъ. Могу образъ снять, что никакихъ грѣховныхъ помысловъ у меня не проявилось, а совсѣмъ напротивъ, но разя повѣрятъ, если откроется, что случайно наткнулся на такую красоту? Никогда! Однако и лежать въ засадѣ тоже опасно. Накроютъ, тогда ужъ никакъ не отворотишься. Полежалъ да и тягу. Хворостъ на мѣстѣ бросилъ, да на четверенькахъ, по собачьи, — единственный способъ сокрытія. Въ лѣсу очутился, духъ перевелъ, хвать, а шляпы нѣтъ! На мѣстѣ преступленія, значитъ, осталась: сбросилъ, когда потъ съ лица вытиралъ по случаю сильнаго волненія. И шляпу — жалко, только весной пріобрѣлъ за полтора рубля, да и ворочаться за ней — значитъ снова на рожонъ лѣзть. Богъ съ ней со шляпой! Шляпу за полтора рубля можно купить, а то, что увидалъ нечаянно, за полторы тысячи не увидишь во второй разъ, да вообще никогда и ни за какія деньги. Это было въ родѣ романса, который Платонъ Фаддѣичъ любилъ пѣть у батюшки подъ музыку Глашеньки: „Я помню чудное мгновенье: передо мной явилась ты, какъ мимолетное видѣнье, какъ ангелъ чистой красоты“. Именно ангелъ чистой красоты! Если потомъ кто нибудь и сподобился законнымъ образомъ это узрѣть, такъ мнѣ, какъ съ неба, свалилось. Такія мысли убѣдили меня плюнуть на шляпу и я вторично занялся валежникомъ, чтобы съ пустыми руками и безъ шляпы не вернуться. Съ путей сбился: въ головѣ отъ видѣнія полный безпорядокъ, не могу опредѣлить, гдѣ востокъ и гдѣ западъ. Ну, и вышелъ къ озеру на голоса. Тоже картина! Отецъ Константинъ и Іероглифовъ бредень мокрый расправляютъ

и въ лихорадкѣ словно трясутся. Вода въ озерѣ холодная, солнышко сѣло. И до того оба тощіе и поджарые, что безъ смѣха невозможно смотрѣть. Бурчатъ, подплясываютъ, бороденками трясутъ...

И вотъ тутъ я подумалъ: всю красоту человѣческую Богъ отдалъ женщинѣ, а все безобразіе — мужчинѣ. Почему такая несправедливость! И про Адама вспомнилъ: худъ и ребристъ, должно быть, былъ, въ родѣ отца Константина. А за Адамомъ, само собою и объ Евѣ подумалъ, и тутъ повторилось въ памяти моей случайное видѣніе и съ той поры, читаю-ли про Еву, разговоръ-ли про нее идетъ — Ева мнѣ въ образѣ Леночки представляется. Это — между прочимъ добавляю, для психологіи моихъ чувствъ. Извиняюсь и за шляпу: я задержался на шляпѣ по той причинѣ, что шляпа имѣла роковыя, можно сказать, послѣдствія, о которыхъ считаю своимъ непремѣннымъ долгомъ разсказать въ доказательство, какъ осторожно слѣдуетъ мужчинѣ обращаться со своей шляпой, тросточкой и прочими предметами мужскихъ потребностей. Кончили раковъ и карасей ловить, и направляемся къ мѣсту стоянки. Надо вамъ замѣтить, что мы съ Платономъ Фаддѣичемъ въ одинъ день, въ одномъ магазинѣ и совершенно одинаковыя шляпы купили. Онъ первый выбралъ, мнѣ его выборъ понравился да и на вкусъ образованнѣйшаго человѣка я положился. „Дайте, говорю такую-же!“ Смѣрили мою голову въ окружности, — оказалась точка въ точку, тотъ-же номеръ мозговъ, только сортъ разный значитъ, — посмѣялся тогда я. И еще я пошутилъ тогда: думалъ, дескать, я, что кому много дано, у того голова больше, а оказалось, что не въ величинѣ дѣло. А Платонъ Фаддѣичъ точно маленько на меня обидѣлся: какъ-же, говоритъ, вы, фельдшеръ, изучали анатомію, а не понимаете, что дѣло не въ окружности головы, а въ мозговыхъ извилинахъ? Конечно, я когда-то зналъ это, про извилины, да не удержалось въ мозгахъ по давно-

сти. Ну, купили одинаковыя шляпы, надѣли и разошлись въ разныя стороны. Смотрю ему въ слѣдъ и думаю: шляпы точка въ точку, а на немъ шляпа красивѣе кажется! Было это не дальше мѣсяца тому назадъ и вотъ опять роковая случайность въ мою пользу! Приходимъ на стоянку, а тутъ ужъ и костеръ пылаетъ, и самоваръ пѣсенки поетъ, съ комариным хоромъ, и все приготовлено — любо посмотрѣть. Вотъ что значитъ женщина: какъ подъ каждымъ-то кустомъ приготовитъ столъ и домъ! Бросилъ взоръ на Леночку: сидитъ молчаливая и зонтикомъ по песочку фигурки выписываетъ. На лицѣ оскорбленное выраженіе, бровки попрыгиваютъ, точно заплакать все собирается. Что думаю такое? Ужъ не увидала-ли она, какъ я на четверенькахъ ползъ отъ нея? Отошелъ къ кустику и, къ своему огорченію, вижу, — на вѣточкахъ двѣ шляпы висятъ одинаковыя: наши съ Платономъ Фаддѣичемъ. Какъ-же двѣ? Значитъ мою кто-то нашелъ на мѣстѣ преступленія и принесъ сюда. Кто? Да кому-же кромѣ Леночки-же! Даже залихорадило отъ своей шляпы, — до того она меня испугала. Теперь ужъ не шляпа, а прямо сказать — вещественное доказательство моей безнравственности! И тутъ меня словно свыше осѣнило! Вспомнилъ про одинаковыя окружности! Оглянулся, — никто не смотритъ. Я перемѣнилъ мѣстоположеніе шляпъ на кустикѣ и поскорѣе прочь! Къ самоварчику. Вижу Платона Фаддѣича нѣтъ. Оказывается разсердился, что я долго хворосту не несу и самъ за нимъ отправился. Вотъ гдѣ мое спасеніе, думаю! Подсѣлъ къ Леночкѣ:

— Что это вы, Елена-свѣтъ-Михайловна, словно въ грустяхъ? По какому поводу? Вижу губки передернулись, въ глазахъ будто слезка сверкнула, голосъ съ вибраціями:

— Потрудитесь со мной пройтись! — говоритъ. Поднялась съ земли, отряхнула платьице отъ песка и гордо, какъ лебедь, шейку вытянула.

— Съ большимъ, говорю, наслажденіемъ! Весь къ вашимъ услугамъ...

Иду рядомъ. Она торопится, молчитъ и направляется прямехонько къ кусту, на которомъ наши шляпы висятъ. Подвела къ кусту и говоритъ:

— Надѣньте вашу шляпу!

Я прикинулся, что удивленъ такимъ распоряженіемъ безъ объясненія причинъ.

— Потрудитесь надѣть вашу шляпу!

Я пожалъ плечами, взялъ съ вѣточки свою собственную шляпу и надѣлъ:

— Значитъ, вотъ эта шляпа не ваша? — спрашиваетъ, указывая на ту, что осталась на кустѣ.

— Я чужими шляпами не интересуюсь, говорю, и добавляю:

— Не откажите въ милости: объясните вашу загадку!

Улыбнулась точно солнышко чрезъ тучки.

— Такъ... Пустяки... Извините меня. Пойдемте!

Глашенька, какъ Марфа Евангельская: вся въ хлопотахъ хозяйственныхъ. Своего задрогшаго супруга и Іероглифова ублажаетъ. Чаемъ съ церковнымъ винцомъ отогрѣваетъ, рыбу чиститъ, раковъ варитъ. Леночка стала за мной ухаживать. Точно виноватая старается свою виноватость загладить. Никогда такой ласковой раньше со мною не бывала! Вотъ ужъ именно „дѣло въ шляпѣ“ оказалось. Появился, наконецъ, и Платонъ Фаддѣичъ съ хворостомъ. Заблудился, говоритъ. А Леночка на него волкомъ посмотрѣла и бровки сморщила. Немного помолчала и съ вибраціей спрашиваетъ:

— А гдѣ, Платонъ Фаддѣичъ, ваша шляпа?

Тотъ развелъ руками и говоритъ:

— А чертъ ее знаетъ. Куда-то положилъ, а не помню. А что такое?

— Не она-ли вонъ тамъ, на кустикѣ?

— Весьма вѣроятно. Я въ такомъ состоянiи, что не только шляпу, могу и голову потерять...

— Кажется, это уже случилось съ вами, — прошептала Леночка.

— Изъ-за женщинъ люди жизнь часто теряютъ,— говоритъ тотъ.

А я и подоткнулъ Платона Фаддѣича:

— Разъ голова потеряна, трудно жизнь сохранить.

А онъ разсердился, что я его словесную промашку отмѣтилъ и ехидно меня поддѣлъ:

— Вы, — говоритъ, — полагаете, что мало по землѣ безголовыхъ субъектовъ ходитъ?

Непрiязнь между нами огонькомъ пробѣжала. Въ родѣ какъ трескъ и блескъ въ машинѣ электрической Потомъ все смягчилось. Ѣли уху изъ жирныхъ карасей, раковъ, пироги съ разными начинками и мы трое, то-есть я, Платонъ и Iероглифовъ, пили и за именинниковъ нашихъ, и за Глашеньку, и „за того, кто любитъ кого“ и просто такъ, безъ объясненiя причинъ. И, конечно, незамѣтно для другихъ и самихъ себя, черезъ барьеръ трезвености перескочили и вѣчный разговоръ про любовь затѣяли... Самая, можно сказать, жгучая тема во вѣки вѣковъ, аминь! Наговорено и написано про нее столько, что и самую землю нашу можно утопить, а между тѣмъ половые проблемы ни на шагъ не продвинулись. Какъ было въ раю, такъ и осталось до нашихъ дней. На подобiе бѣлки въ колесѣ: вертится и все ни съ мѣста, а видимость будто всѣ впередъ бѣжитъ. Обманъ зрѣнiя и прочихъ чувствъ. Глашенька, какъ видно, тоже наливочки пригубила и на эту тему откликнулась душа ея. Только отецъ Константинъ съ Леночкой уклонялись и такъ себя вели, словно не касалась ихъ эта страсть человѣческая. Ужъ не припомню, какъ мы на любовь перескочили и кто первый этотъ сюжетъ выставилъ. Сидѣли у костра отпылавшаго. Не замѣтили, какъ ночка насъ принакрыла, а ночка безъ

луны, темная. Тишина. Только Волга въ бережокъ поплескиваетъ и около лодки — буль! буль! буль! бубенчикомъ. Соловушки на лѣсной опушкѣ вскрикиваютъ: ой! ой! ой! тра-та-та-та, фють-фють-фють! запахи всевозможные, головокружительные, съ луговъ тянутъ, а тутъ еще Глашенька на гитарѣ своими пальчиками чуть-чуть позваниваетъ... Ага! Вспомнилъ съ чего началось! Ландышемъ запахло, а Платонъ Фаддѣичъ и замѣтилъ:

— Свадьбой пахнетъ! Флеромъ доранжемъ!

Не сразу мы поняли, а Глашенькѣ смѣшно стало и она залилась. Платонъ Фаддѣичъ разъяснилъ: говоритъ, — ассоціація воспоминаній. Ну, со свадьбы на любовь и перескочили. При своихъ либеральныхъ взглядахъ Платонъ Фаддѣичъ позволилъ себѣ указать на то, что сейчасъ — май мѣсяцъ — время любви для всѣхъ животныхъ, какъ для инфузорій, такъ равно и для млекопитающихъ, а Глашенька замѣтила:

— Животныхъ можно оставить!

Іероглифовъ же, какъ безумно и безнадежно влюбленный въ Капитолину Расторгуеву, вздохнулъ и поддержалъ даму:

— Человѣкъ весною всего сильнѣе поддается любовному томленію.

А Платонъ Фаддѣичъ сейчасъ же и подоткнулъ его:

— А по вашему человѣкъ — не млекопитающее? Я далъ общую формулу для всего животнаго царства, а въ томъ числѣ и для насъ, людей.

Іероглифовъ, когда лишнее выпьетъ, всегда въ мрачность впадаетъ, ну, и въ эти минуты былъ на краю мрачности:

— Къ черту, — говоритъ, вашу зоологичность! Я себя не признаю млекопитающимъ! Я, — говоритъ, — человѣкъ милостью Божіей, царь природы, единодержавный властелинъ вселенной! Если, — говоритъ, —

вы считаете себя животнымъ млекопитающимъ, — это дѣло вашей совѣсти и политическихъ взглядовъ...

А Глашенька заливается на всю Волгу, — всѣхъ соловушекъ раздразнила. Отецъ Константинъ всталъ и пригласилъ Леночку съ нимъ на лодку — подпуска вынимать: видимо, хотѣлъ дѣвичью цѣломудренность охранить отъ такого вольнаго разговора. При томъ же отецъ Константинъ очень политики боялся и всякихъ разговоровъ такихъ избѣгалъ, а надо сказать, что Платонъ Фаддѣичъ съ Іероглифовымъ по своимъ взглядамъ политическимъ были на разныхъ діаметральныхъ концахъ, въ родѣ, какъ кошка съ собакой. И вотъ, когда Іероглифовъ произнесъ на счетъ „совѣсти и политическихъ взглядовъ“, Платонъ Фаддѣичъ взметнулся, какъ уколотый:

— Я, — говоритъ, — не идіотъ, чтобы любовь съ политикой смѣшивать...

Іероглифовъ весь передернулся, но промолчалъ. Только рюмку коньяку хватилъ, отошелъ въ сторонку и тихо и съ тоскою запѣлъ свое любимое: „Съ кѣмъ я эту ночь буду ночевать“. Вижу, что человѣкъ страдаетъ и зря оскорбленъ. Подошелъ къ нему и говорю:

— Оба мы люди одинокіе, никѣмъ не любимые... Ночевать ко мнѣ поѣдемъ...

А онъ отмахнулся: „ну, — говоритъ, — всѣхъ васъ къ чертямъ подъ мышку!“

Вижу, что лучше оставить человѣка одного. Пусть маленько вѣтеркомъ обдуетъ. Тутъ въ чемъ загвоздка? Платонъ-то — смотритель училища, начальникъ оскорбленнаго человѣка. Не будь этого далъ бы за „идіота“ въ морду и полное удовлетвореніе получилъ. Ну, а разъ — начальство, хотя и очень тянетъ, конечно, къ мордѣ, а не такъ еще намочился алкоголемъ, чтобы о всѣхъ послѣдствіяхъ позабыть. Ну, а отъ воздержанія душа еще сильнѣе вскипаетъ. Психологія! Вернулся я къ костру: Платонъ съ Глашенькой все еще про любовь го-

ворятъ. Вотъ, вѣдь, характеръ женскій: видитъ, что Платонъ въ нее, какъ говорится, по уши, знаетъ, что ей это томленіе кавалера ни къ чему, а подзадариваетъ и улыбочками со значеніемъ, и позитурою, и стономъ гитары подъ пальчиками. Подошелъ и говорю:

— Платонъ Фаддѣичъ!

— Что такое?

— Возьмите „идіота“ обратно! Нехорошо оно вышло: вы — начальникъ, Пантелеймонъ Алексѣевичъ — подчиненный. Тутъ, какъ говорится, такое напряженіе происходитъ въ человѣкѣ, что буксиръ можетъ лопнуть. Ну, а случается, что въ такихъ случаяхъ другимъ концомъ и убить неосторожнаго можетъ.

— А что такое? Я сказалъ, что *я* — не такой идіотъ!..

— А вы полноте. Ваше краснорѣчіе совсѣмъ прозрачное. Всякій долженъ былъ „идіота“ себѣ на приходъ записать. Вы человѣкъ, говорю, на полголовы по крайности выше Іероглифова, вамъ больше дано, съ васъ больше и спросится...

— Извинитесь, миленькій! Вамъ ничего не стоитъ, — проситъ и Глашенька умильнымъ голоскомъ и трень брень струнами. Какъ она попросила, моментально вскочилъ, надѣлъ шляпу на затылокъ и въ темноту ушелъ. Сидимъ—слушаемъ: сперва оба злобно говорятъ. Всего не разберешь, а только оба „идіота“ поминаютъ. Потомъ — помягче. А минутъ черезъ десять изъ темноты оба выплываютъ подъ ручку и смѣются. И такъ намъ стало пріятно, что и мы съ Глашенькой давай хохотать. Благородный поступокъ всегда умиляетъ со стороны.

— Предлагаю выпить общую за наше примиреніе!— говоритъ Іероглифовъ, — у меня, — говоритъ, — своя заготовка имѣется.

И вынулъ бутылочку „зубровки“. И все какъ рукой сняло. Опять всѣ — друзья-пріятели. И снова про

любовь. Никакъ разговоръ съ этой зарубки соскочить не можетъ. Всѣ мы трое, Платонъ, Пантелеймонъ и я, очень задѣты этимъ сюжетомъ: я — черезъ Леночку, Платонъ — черезъ Глашеньку, Пантелеймонъ — черезъ Капитолину Расторгуеву. Глашенька все это хорошо понимаетъ и занятно ей на нашихъ сердечныхъ ранахъ поигрывать. Ковырнетъ пальчиками струны на гитарѣ, а словомъ до сердечной раны прикоснется, да еще не просто нѣжнымъ пальчикомъ, а острымъ ноготкомъ норовитъ. Ноготки точитъ, какъ кошечка особымъ инструментомъ въ видѣ копья каждый ноготокъ у ней. Однимъ ударомъ двоихъ подкалываетъ:

— Нехорошо, когда мужчина долго холостымъ ходитъ — говоритъ, какъ вы, Платонъ Фаддѣичъ! Почему-бы вамъ не жениться?

— На комъ прикажете?

— Да на Капитолинѣ Расторгуевой!

Платонъ Фаддѣичъ плечомъ пожалъ, а Іероглифовъ весь передернулся и съ нѣкоторымъ огорченнымъ издѣвательствомъ поддержалъ эту идею:

— Правильно, говоритъ. Тамъ давно ожидаютъ этого. Счастье, коллега, только разъ въ жизни намъ дается.

И выпилъ въ одиночку зубровки прямо изъ горлышка въ горлышко. А Платонъ Фаддѣичъ какъ захохочетъ!

— Во первыхъ, говоритъ, я есмь Платонъ и все платоническое мнѣ свойственно, а во вторыхъ и главное, — мерси боку! Для меня Капитолина ни больше, какъ амеба!

Матушка подумала, что Платонъ Фаддѣичъ Капитолину Расторгуеву нехорошимъ словомъ обругалъ, да и Іероглифовъ едва-ли правильное понятіе объ этой амебѣ имѣлъ, потому что сразу въ озлобленность и мрачность впалъ, началъ на мѣстѣ топтаться и своей тростью съ набалдашникомъ поигрывать. Въ родѣ какъ

левъ въ клѣткѣ вокругъ самого себя вертится. И подкашливаетъ: какъ будто-бы сказать очень грозное хочетъ, а отъ волненія не можетъ. Что касается меня, то я про амебу зналъ по своей спеціальности давно уже и скажу такъ: конечно, въ названіи этомъ, если оно къ мѣсту употреблено, ничего ругательнаго нѣтъ, но для человѣка слово это неподходящее: если про клопа, напримѣръ, въ обществѣ говорить, то ничего неприличнаго въ этомъ нѣтъ, а если васъ клопомъ назовутъ — совсѣмъ въ другомъ смыслѣ выходитъ. Однако и то надо принять во вниманіе, что клопъ — насѣкомое крайне непріятное и имѣетъ противный запахъ, всѣмъ намъ хорошо извѣстный, между тѣмъ какъ амеба — ничего отталкивающаго въ себѣ не содержитъ, а такъ, въ родѣ... ну, въ родѣ какъ минимальный кусочекъ, капелька такая, студня или когда заливную рыбу подаютъ, такъ желе называется. И при томъ безъ всякаго непріятнаго запаху. Это я — на случай, если вы объ амебѣ въ первый разъ слышите, какъ многіе въ нашемъ городѣ. Глашенька, видимо, услыхала это слово впервые отъ Платона Фаддѣича, потому что какъ только онъ его употребилъ въ разговорѣ, очень смутилась и говоритъ:

— Прошу при мнѣ честную дѣвушку не оскорблять и такъ не выражаться!

Это относительно амебы-то! Платону Фаддѣичу слѣдовало-бы ужъ кончить на этомъ, но научная гордость, какъ я думаю, не позволила и онъ — на дыбы:

— Ничего, говоритъ, предосудительнаго я не сказалъ. Въ міроздапіи, говоритъ, амеба на самомъ первомъ мѣстѣ числится и все начинается, говоритъ, не съ Адама, а съ этой самой амебы, которая и есть, дескать, наша общая прародительница. А тутъ отецъ Константинъ съ Леночкой, вернувшись съ рыбой, подошли и, когда Платонъ Фаддѣичъ Адама съ Евой амебой подмѣнилъ, батюшка тоже очень возмутился и сказалъ, что

это кощунство, недостойное интеллигентнаго человѣка, стоящаго на стражѣ воспитанія учащихся, которые ежедневно молятся за родителей и учителей, ведущихъ насъ къ познанію блага. Леночка слушала съ возмущеніемъ, долго молчала, а подъ конецъ тоже не выдержала и, когда Платонъ Фаддѣичъ, въ свое оправданіе на господина Дарвина уперся и замѣтилъ, что были времена, когда всѣ мы на четверенькахъ ползали, Леночка, смѣясь сквозь слезы, то есть истерически, начала обличать Платона Фаддѣича:

— Мы никогда, говоритъ, на четверенькахъ не ползали, а вотъ вы дѣйствителъно и теперь этимъ дѣломъ занимаетесь, когда дѣвушки купаются! Да, да, да! Сама я видѣла, какъ вы въ лѣсъ ползли... какъ животное... И послѣ этого вы смѣете честныхъ дѣвушекъ амебами называть?

Вотъ она „шляпа“ то какъ обернулась! Мнѣ даже жалко стало Платона Фаддѣича, потому что за мой невольный грѣхъ онъ-же страдалъ невинно, вотъ я, чтобы облегчить его положеніе, и вступился: началъ про амебу разъяснять, что-бы не очень ужъ обижались. И сперва какъ будто дѣло смягчаться стало. А чертъ дернулъ Платона Фаддѣича тоже отгрызнуться:

— Я, говоритъ, выразилъ только духовную оцѣнку структуры дѣвицы Расторгуевой фигуральнымъ выраженіемъ. Не могу отрицать, говоритъ: возможно, что нѣкоторымъ субъектамъ мужского пола эта дѣвица представляется вѣнцомъ Божьяго творчества, но лично для меня, говоритъ, она — примитивное животное, кусокъ мяса, бивштексъ съ гарниромъ!

А потомъ Леночкѣ началъ возражать насчетъ ползанія на четверенькахъ. Ничего конечно, не разобралъ въ ея обличеніи и сталъ опять съ научной подкладкой доказывать, что я, дескать, съ гордостью принимаю, что когда-то на четверенькахъ ползалъ, а теперь громами повелѣваю! Тогда Леночка вскрикнула „вы нахалъ!“, и

тутъ случилось оскорбленіе дѣйствіемъ: внезапно выскочилъ, какъ звѣрь изъ клѣтки, Іероглифовъ и сталъ работать своей тростью съ набалдашникомъ. Какъ безумно влюбленный въ дѣвицу Капитолину, онъ, какъ я думаю, взорвался какъ паровой котелъ безъ предохранительнаго клапана, отъ скопленія злобы и возмущенія за свой идеалъ. Мы всѣ растерялись, женщины визжатъ и плачутъ, а Іероглифовъ прямо остервенѣлъ и, поваливъ Платона Фаддѣича на обѣ лопатки, продолжаетъ бить лежачаго и при томъ произноситъ такія слова, предъ которыми „амеба“ теряетъ всякое значеніе. Я опомнился и рѣшилъ принять мѣры. А я человѣкъ сильный. Схватилъ господина Іероглифова за ноги и оторвалъ отъ несчастной жертвы — оттащилъ подальше по песку и говорю:

— Во первыхъ, лежачаго не бьютъ, а во вторыхъ, опомниться надо: здѣсь дамское общество.

Сѣлъ Іероглифовъ на пескѣ и башкой во всѣ стороны машетъ, а отъ злобы хрипитъ даже. Ну, прямо — тигръ разъяренный. А батюшка трость съ набалдашникомъ поднялъ и въ кусты ее забросилъ, изъ понятной предосторожности... Розняли, значитъ. Жертва лежитъ и никакого звука не подаетъ. Подошелъ ко мнѣ отецъ Константинъ и шепчетъ: „живъ-ли?“ Вы, говорю, этого тигра посторожите, а я посмотрю, въ какомъ состояніи жертва неосторожнаго обращенія. Захватилъ ведро съ водой и къ побѣжденному. Вся физика въ окровавленности, глазъ вздулся, галстука нѣтъ, дыханіе затрудненное; въ неполной сознательности... Поливаю ему главу водой и говорю:

— Люди образованные, интеллигенція, а при дамскомъ обществѣ такъ оскорбительно, господа, себя держите...

Онъ одинъ глазъ открылъ и съ удивленіемъ смотритъ на меня:

— Гдѣ, спрашиваетъ, я и что со мною?

— На именинахъ, говорю, въ честь „Матери Елены и царя Константина“ избиты. За неосторожное словоупотребленіе.

Приподнялся, сѣлъ, сморкаться кровью сталъ. „Будьте, говоритъ, свидѣтелемъ!“

— Помириться, говорю, слѣдуетъ, а не заводить скандалу.

— Подобныя вещи, говоритъ, не забываются. Я не позволю, чтобы посторонняя рука касалась безнаказанно человѣческой личности. Государство должно гарантировать неприкосновенность и только у насъ...

И началъ государственное устройство наше кастерить!

— Водицы, говорю, выпейте...

Пилъ, пилъ... я даже побаиваться началъ, не опоить-бы человѣка. Конечно въ нутрѣ пожаръ душевный и тѣлесный, — горитъ человѣкъ. Напился, всталъ и спрашиваетъ:

— А что, очень замѣтно?

— Да, говорю, шила въ мѣшкѣ не утаишь. Однако, надо имѣть въ виду, что теперь ночь и всѣ кошки — сѣрые. А мѣры слѣдуетъ принять: зайдите попутно ко мнѣ: свинцовой примочки дамъ и пасты цинковой. Отъ побоевъ превосходно. Въ три дня благообразіе возвратите... А онъ головой замахалъ: я этого, говоритъ, не прощу, я его, ретрограда паршиваго, выведу на чистую воду, пусть запомнитъ, какъ на свое непосредственное начальство руку поднимать. Я до послѣдней границы благородства дошелъ: извинился передъ мерзаацемъ и обратно „идіота“ взялъ, а онъ... Обращаюсь, говоритъ, къ вамъ, какъ къ лицу оффиціальному, и требую выдать мнѣ удостовѣреніе о побояхъ, пока они доступны всеобщему обозрѣнію! А затѣмъ — протоколъ. Свидѣтелей, говоритъ, болѣе, чѣмъ достаточно. Какъ я не вразумлялъ, что дѣло житейское и выгоднѣе для всѣхъ насъ этимъ инцидентомъ пренебречь, однако не вразу-

милъ этого образованнѣйшаго человѣка въ городѣ. Кипитъ гнѣвомъ.

— У меня, говоритъ, физіономія собственная, а не казенная, и на всю жизнь въ одномъ изданіи напечатана.

Озираюсь: никого вокругъ не видно. Тишина, только соловушки въ разныхъ концахъ зажариваютъ, коростели въ лугахъ тарахтятъ, лягушки въ озерѣ соловьямъ подражаютъ, а человѣческаго голоса, ни мужского, ни женскаго, не улавливаю. Прислушался: гдѣ-то веслами лодка плещетъ. Неужели наши утекли? Это ужъ опять неделикатность! Я понимаю, если-бы дѣло одного Платона Фаддѣича касалось: ну не пожелали съ нимъ продолжать компанію въ виду неподходящаго съ его стороны поведенія, а я тутъ при чемъ? Съ моей стороны только и было, что проявленіе состраданія къ ближнему, подобно Евангельской притчѣ. Какъ-же меня бросили на произволъ судьбы! Потомъ-то дѣло разъяснилось: испугались они, что Платонъ Фаддѣичъ поѣдетъ совмѣстно съ Іероглифовымъ, такъ снова скандалъ въ лодкѣ можетъ загорѣться и тогда въ дракѣ всѣ потонуть могутъ. Ну, а въ ту пору мнѣ такъ обидно сдѣлалось, что на всѣхъ разсердился. Бредемъ мы въ темнотѣ, болтаемся, и вдругъ это точно вся ночь вздрогнула: на гитару наступилъ. Раздавилъ инструментъ!.. Очень тогда оба испугались; точно стонъ ангельской души и предзнаменованіе разбитаго счастья...

Побродили по бережку. Скучно, точно и говорить больше не о чемъ. Все внезапно оборвалось и лопнуло. Стѣсненіе какое-то. Не я, конечно, человѣка избилъ, а все-таки какъ-то неудобно ему въ опухшую физіономію глядѣть. Инстинктъ такой. Будь мы оба избитые, лучше-бы время проводили, а тутъ — какъ будто только что познакомились... Часа три молча на берегу сидѣли и вздыхали. А какъ свѣтать стало, видимъ, — лодка за нами...

— Отъ отца Кистянтина за вами! — лодочникъ заявилъ.

Ну, сѣли и поѣхали.

— Кого, — спрашиваетъ лодочникъ, — тутъ у васъ избили, али убили?

Вотъ онъ, язычекъ-то нашъ! Въ городѣ уже узнали. Ну, и публика!.. Лодочникъ приглядѣлся къ Платону Фаддѣичу и говоритъ доброжелательно:

— Эхъ, какъ тебѣ, баринъ, морду-то разберединли! Я тебѣ вотъ что присовѣтую. Натирай морду-то смѣтаной и давай черному коту вылизовать! Три раза такъ продѣлаешь и кончено: какъ новенькая будетъ. У насъ на прошлой недѣлѣ вотъ этакъ же одному парень ку харю отполировали, а пожалуй, что и почище твоего. Сейчасъ кота принесли попова, жирнаго, рожу — смѣтаной и пошла работа!

А Платонъ Фаддѣичъ насупился, молчитъ. На часы поглядываетъ да на востокъ: солнышка боится: при полномъ-то свѣтѣ по городу, при людяхъ, какъ будто и неудобно идти.

— Ты не разговаривай, а греби добросовѣстно! — лодочнику говоритъ и носовымъ платочкомъ прикрывается.

А противъ нашего города Волга широкая, версты двѣ не меньше. Пока доѣхали, солнышко засверкало и всѣ жители зашевелились: день-то базарный былъ. Идемъ въ гору, а бабы останавливаются. Хотя Платонъ Фаддѣичъ и прикрывается платочкомъ, а платокъ въ крови. Не спрячешь. Бабы охаютъ, да спрашиваютъ, кто раскровянилъ, а лодочникъ позади идетъ и объясняетъ: избили барина за Волгой! Ну, и, конечно, дня не прошло, какъ всему городу стало извѣстно, что господинъ Іероглифовъ господина смотрителя училища, кавалера ордена Станислава третьей степени, перваго, можно сказать, кавалера дамскаго, ручнымъ способомъ обработалъ. И, конечно, каждому жителю безъ различія пола и возраста любопытно всѣ подробности такого рѣдкаго удовольствія узнать: когда? гдѣ? кто? при

комъ? за что? Не прошло трехъ дней, какъ въ клубѣ нашемъ, за винтомъ или преферансикомъ, подъ рюмочку водочки и такъ, для занятія дамъ разговорами,—сплетня завиваться и кудрявиться начала, въ родѣ хмѣля на огородѣ: смотритель, дескать, неприлично очень о дѣвицѣ Расторгуевой отозвался, а господинъ Іероглифовъ рыцарское поведеніе проявилъ, за честь дѣвицы вступился и безкорыстно Платону Фаддѣичу за это морду набилъ. Между тѣмъ я удостовѣреніе въ побояхъ Платону Фаддѣичу выдалъ за своей фельдшерской подписью, съ приложеніемъ печати, по полной формѣ, какъ онъ требовалъ, по горячимъ слѣдамъ. Съ моей стороны — служебная обязанность, а съ его стороны — куй желѣзо, пока горячо. Ужъ не могу сказать, прибѣгалъ ли Платонъ Фаддѣичъ къ попову коту за врачебной помощью, но ко мнѣ за свинцовой примочкой и розовымъ пластыремъ свою молоденькую кухарочку присылалъ, Машеньку. Невредная солдаточка и я такъ подозрѣваю, что есть причины не торопиться ему съ бракосочетаніемъ. Однако, это — къ слову пришлось и должно остаться между нами: неопровержимыхъ фактовъ не имѣется, а не пойманъ, говорится — не воръ.

— Что, спрашиваю, бабочка, какъ твой баринъ себя чувствуетъ?

Фартучкомъ прикрывается, пожимается, а въ глазахъ — любовное состраданіе.

— Слава Богу,—говоритъ,—маленько лицо проясняться начало, а то и глядѣть страшно.

Помялась это, глядитъ въ бокъ воровскимъ косымъ взглядомъ и интересуется:

— Неужели люди правду говорятъ, что изъ-за дѣвки Расторгуевой его избили?

Вотъ я и подшутилъ:

— Невѣста-то, говорю, больно завидная: есть изъза чего и подраться:

Вижу бабеночка огнемъ загорѣлась и глаза зло-

бой сверкнули. Платокъ на глаза надвинула, хвостомъ вернула и за дверь. Я за ней! Кричу съ крыльчика:

— Машенька! Пластырь-то забыли!

Плюнула и не повернулась даже.

— Вотъ единственный фактъ, а ужъ какъ вы его примите, — дѣло вашей совѣсти. Ну, время ползетъ, разговоровъ въ городѣ все больше. Вышелъ вечеркомъ на берегъ погулять, къ пристанямъ пароходнымъ, пріятную новость узнаю: купецъ Расторгуевъ, дескать, господину Іероглифову пятерикъ самой лучшей крупчатки въ подарокъ прислалъ! И будто записочка пришпилена: „за благородство“! Совершенно новый оборотъ дѣло, вижу, принимаетъ. Любопытно! Зашелъ къ Пантелеймону Алексѣевичу: радостный, точно именинникъ, при новомъ галтукѣ, и усъ подвитой.

— Ну, какъ дѣла? — спрашиваю. — Нѣтъ ли чего новенькаго?

— Есть! — говоритъ и улыбается.

Вотъ, думаю, про мѣшокъ съ крупчаткой заговоритъ, а онъ вотъ что докладываетъ:

— Дознаніе производится. Сегодня у исправника на допросѣ былъ.

— Ну, и что же?

— Чувствую, что норовитъ подъ оскорбленіе дѣйствіемъ начальника при исполненіи служебныхъ обязанностей меня подвести, только это у нихъ сорвется. Во первыхъ, онъ мнѣ начальникъ въ училищѣ, а не за Волгой, а во вторыхъ, мы не служебными дѣлами занимались, а именины праздновали. Я все, говоритъ, по чистой совѣсти показалъ. Надѣюсь, что вы, какъ честный человѣкъ и свидѣтель всего происшедшаго, подъ присягою подтвердите мои слова. Непріятно одно: потомственнымъ дворяниномъ онъ оказался: говорятъ, что дѣло въ Симбирскій окружной судъ можетъ попасть.

— Это, говорю, какъ писатель Гоголь выразился: „пошла писать губернія!“

А самъ удивляюсь: такая непріятность, а Іероглифовъ съ блаженствомъ на лицѣ. Что-нибудь тутъ мѣшокъ съ крупчаткой значитъ.

Прошло еще нѣсколько дней и опять крупная новость: купецъ Расторгуевъ вмѣстѣ съ Іероглифовымъ въ кабріолетѣ куда-то поѣхали. Никогда раньше никакого дружества не замѣчалось, а тутъ рядкомъ. Іероглифовъ бариномъ сидитъ, а Расторгуевъ своимъ жеребцомъ правитъ, а больше похожъ на кучера. Правильно, думаю, въ пословицѣ говорится: нѣтъ худа безъ добра. Не набей онъ морду Платону Фаддѣичу, никогда-бы къ семейству Расторгуевыхъ не приблизился. Значитъ, судьбѣ такъ угодно было. Можно сказать, амеба выручила, все съ нея началось, а чѣмъ кончится одному Господу вѣдомо. Только городъ сплетнями до сыта наѣлся и задремалъ, хвать — оглушительное событіе: кто-то ворота у дома купца Расторгуева дегтемъ ночью вымазалъ! Покушеніе опозорить цѣломудренность дочери. Кто такъ подло напакостилъ почтенному семейству купца Расторгуева, множество благодѣяній родному городу оказавшаго, первому нашему благотворителю бѣдныхъ и сиротъ? Тутъ, какъ говорится, темна вода во облацѣхъ, но для меня одного во всемъ городѣ было ясно: Машенька изъ неумѣстной ревности и по бабьей глупости постаралась. И, между нами сказать, я самого себя тутъ виню: пошутилъ, когда она за пластыремъ ко мнѣ приходила. Съ дуракомъ, выходитъ, шути поосторожнѣй! Ворота въ тотъ-же день заново выкрасили, да разя такой фактъ красками закрасишь? Дѣло сдѣлано. Теперь хотя позолоти ихъ, ворота, а подозрѣніе на дѣвичье цѣломудріе опубликовано. А Расторгуевъ купецъ гордый, къ разному почету привыкшій, съ медалями. Губернатора-ли, архіерея-ли встрѣтить — безъ него не обходится. И вдругъ такой срамъ! Всю полицію на ноги поставилъ, награду за раскрытіе виновника назначилъ. По ночамъ, говорили, плачетъ, а днемъ въ окно

сторожитъ: публика изъ любознательности мимо дома гурьбой ходитъ и пальцемъ убѣждается, что ворота покрасили. Поймаетъ Расторгуевъ такого любознательнаго и прикажетъ дворнику рожу ему въ зеленый цвѣтъ выкрасить. „Колупай, говоритъ, пальцемъ свою собственную рожу, а чужихъ воротъ не касайся!“ Время ползетъ, а успокоенія въ городѣ незамѣтно. Совсѣмъ напротивъ. Захожу какъ-то къ Платону Фаддѣичу,—хотя на лицѣ никакихъ воспоминаній не осталось, но узнать человѣка нельзя: точно только что родную мать схоронилъ. Никакой воинственности не осталось. Смирненькій такой. Какъ будто-бы даже меня боится.

— Что, спрашиваю, нигдѣ васъ не видать?

— Предпочитаю, говоритъ, одиночество. Жизнь животныхъ изучаю.

— Бросьте, говорю: мало вамъ изъ-за амебы досталось?

По малу разговорились. Поинтересовался насчетъ суда съ Іероглифовымъ. Махнулъ рукой:

— Остановилъ я свою жалобу. Съ горяча тогда сглупилъ, а потомъ понялъ, что вы правильно посовѣтовали плюнуть на всю эту исторію. Огласка повредитъ только. Я, говоритъ, Іероглифову предложеніе сдѣлалъ помириться и все забыть, однако отвѣта не поступаетъ. Правда-ли, спрашиваетъ, что онъ на Капитолинѣ Ивановнѣ Расторгуевой женится?

— Доподлинно утверждать не могу, но кажется, что дѣло въ эту сторону клонится. Каждый праздникъ у нихъ въ дому бываетъ и съ отцомъ въ кабріолетѣ разъѣзжаетъ. Теперь, говорю, какой-то дуракъ путь къ счастью ему раскрылъ: ворота деготкомъ подмазалъ,—теперь папаша будетъ объ одномъ заботиться — какъ-бы поскорѣе бракованный товаръ сдать. А Пантелеймонъ Алексѣевичъ — женихъ на очереди. Вы, говорю, въ тиражъ вышли.

Побывалъ и у Іероглифова. Тоже не узнаешь.

Только въ другомъ смыслѣ. Въ гордомъ блаженствѣ плаваетъ. Флеромъ-доранжемъ отъ него пахнетъ. Новая тройка англійскаго трика, вмѣсто „спасибо“, „мерси“ говоритъ и поведеніе такое, что будто онъ не меня, а малознакомаго просителя принялъ. Съ холодкомъ такимъ, какъ изъ погреба. Заговорилъ я про Платона Фаддѣича:

— Мы съ Иваномъ Потапычемъ, говоритъ, еще посадимъ его на свое мѣсто.

— А онъ васъ простилъ, говорю, по христіански, и дѣло прекратилъ...

— Струсилъ, подлецъ. Ханжей прикинулся. Насъ этимъ не разжалобишь. Мнѣ яму рылъ, а самъ въ нее попадетъ.

Тогда я, признаться не придалъ особеннаго значенія этой угрозѣ, но вскорѣ выяснилось, что Иванъ Потапычъ Расторгуевъ публично въ клубѣ заявилъ:

— Господинъ Іероглифовъ въ благородномъ порывѣ душевнаго состоянія набилъ ему морду, а я, родитель, безъ вниманія эту обиду оставлю? Да что я? Бревно, что-ли безчувственное? Моя супруга — животная, чтобы замѣсто младенца амебу родить?.. Тройное оскорбленіе: меня самого, моей законной супруги и нашей любезной дочери. Никакихъ денегъ не пожалѣю, а въ арестанты оскорбителя произведу!

И вотъ дѣйствительно: встрѣчаю однажды Самолетскій пароходъ сверху и вижу, — слѣзаетъ съ парохода Іероглифовъ въ сопровожденіи очень представительнаго и франтоватаго господина въ золотомъ пинснѣ, съ портфелемъ въ одной рукѣ и съ зонтикомъ въ футлярѣ — въ другой. Позади матросъ новый чемоданъ желтой кожи, съ мѣдной оковкой, несетъ. Сразу видно, что господинъ дѣловой и зря въ нашъ городъ не поѣдетъ. Для мучного дѣла тоже неподходящій: мучники въ пинснѣ у насъ не наряжаются. Со столичнымъ форсомъ мужчина. Сѣли въ пролетку Расторгуева и покатили. Что, думаю, за явленіе? Заглянулъ вечеркомъ въ

нашъ „Гранъ отель“ и освѣдомился. Зналъ, что у насъ больше такому субъекту дѣться некуда. И попалъ въ точку. Здѣсь! Навелъ справочку у швейцара: самый знаменитый на всей Волгѣ адвокатъ, Коломейцевъ! Ну, думаю про Платона Фаддѣича, пропала твоя головушка! Отъ такого знаменитаго оратора не отвертишься научностью. Словами утолитъ!

Навѣстилъ отца Константина съ Глашенькой, объясняю положеніе дѣлъ,—оба въ унынiе впадаютъ. Пріятно-ли попасть свидѣтелямъ въ такое щекотливое дѣло? Да еще лицу духовнаго званія! Если Платонъ Фаддѣичъ вò-время свою жалобу задержалъ безъ движенія, такъ именно изъ-за общей оппозиціи со стороны батюшки, матушки и Леночки: они заявили Платону Фаддѣичу, что ничего не видѣли и показать не могутъ, если тотъ поставитъ ихъ въ свидѣтели происшедшаго за Волгой мордобитія. Когда Платонъ жалобу обратно взялъ, — успокоились, а тутъ опять угроза публичнаго разсмотрѣнія всѣхъ похожденій! Ну, и началась катавасія. Отецъ Константинъ скорехонько облачился и къ благочинному. Леночкиному отцу. Тотъ — къ Расторгуеву, а отецъ Константинъ — къ Іероглифову: тогда уже открыто въ городѣ Іероглифова женихомъ считали и тотъ, хотя и не подтверждалъ, но и не отрицалъ. Потомъ благочинный — къ исправнику, исправникъ — къ Расторгуеву. Весь городъ, въ лицѣ значительныхъ особъ своихъ, завертѣлся вокругъ Расторгуевскаго дома на манеръ, какъ земля и всякія планеты и кометы—вокругъ солнца.

Иванъ Потапычъ всѣхъ очень пышно принималъ, обѣдами съ мороженнымъ угощалъ и всякими напитками, но что касается своего предпріятія, — ни на какія уговоры и увѣщанія не поддавался. Говорятъ, что когда исправникъ сдѣлалъ ему намекъ, что онъ не привыкъ, чтобы ему въ чемъ-либо отказывали, Расторгуевъ послалъ ему сахарную голову при письмѣ: „Кесарево — кесарю, а Божіе — Богови, ваше высокородіе,

господинъ исправникъ! Не токмо всякому животному, но и человѣку данъ завѣтъ защищать своихъ дѣтенышей. Никто-же плоть свою возненавидитъ, но питаетъ и холитъ ю. А мы — люди крѣпкіе вѣрѣ православной и наставникамъ древляго благочестія, а потому признать, что отъ нашего блогословеннаго церковью брака родилась, замѣсто дитя, амеба,—не можемъ, даже ежелибы насъ о семъ просилъ самъ господинъ губернаторъ". Копія съ письма, хотя и незасвидѣтельствованная по всему городу ходила тайно по рукамъ нашего высшаго общества и передается мной безъ всякаго измѣненія. (Снялъ копію съ копіи!).

Такъ и не могли никакими силами остановить Ивана Потаповича. Дѣло поступило къ городскому судьѣ. Жалобу писалъ знаменитый адвокатъ, который за лѣто раза два пріѣзжалъ въ нашъ городъ и проживалъ откровенно въ домѣ Ивана Потаповича, какъ свой человѣкъ. Ходили слухи, что разъ онъ выиграетъ процессъ этотъ, то получаетъ десять тысячъ и полнокровнаго, заводскаго рысака.

И вотъ осенью, насколько помню, въ день „Вѣры, Надежды и Любви", когда многіе горожане и горожанки по случаю ангела должны были за обѣдней стоять, всѣ въ камеру городского судьи направились. День Судный! Любознательность публики была столь многозначительна, что исправникъ нарядъ полицейскихъ чиновъ у камеры поставить распорядился. Судейская зала, конечно, и десятой части всѣхъ устремившихся вмѣстить не могла, а между тѣмъ не только интеллигенція цѣлыми семействами, разрядилась какъ для представленія въ театрахъ и пришла послушать, а все купечество и мѣщанство грамотное, всѣ лабазники, прикащики, конторщики, съ пароходныхъ пристаней, съ мельницы. Поглядѣть издали мобилизація, а не камера городского судьи! Полицейскій надзиратель, человѣкъ неопытный, безъ году недѣля на мѣстѣ, расте-

рялся: кого пустить, кого — не пускать? Сперва такъ объявилъ: „Допускается одна интеллигенція, дескать". Видитъ, — публика такого слова не понимаетъ: всѣ поперли. Тогда онъ заявилъ:

— Могутъ, которые въ шляпкахъ и если брюки на выпускъ!

Конечно, народъ у насъ дошлый. Чего другого, а законы обходить—мастера: у котораго мужчины брюки—въ сапоги, выправлять поверхъ голенищъ начали, а женщины, которыя въ платочкахъ, скидывать ихъ стали, замѣтя, что есть барыни въ прическѣ, но безъ шляпы. Одна въ шляпкѣ проскочила, а свою шляпку въ окошко другой выкинула. Надзиратель оторопѣлъ: видитъ, что очень много недостойнаго пролѣзло, а почтеннымъ сѣсть негдѣ. Тогда онъ рѣшилъ залу очистить и заново отборъ сдѣлать. Не слушаютъ, не желаютъ уходить! Приказалъ наряду дѣйствовать, не употребляя оружія. Ну, а день Вѣры, Надежды и Любви, — нѣкоторые съ утра алкоголемъ зарядились, — ну и начали огрызаться, распоряженіе начальства критиковать, съ употребленіемъ неподходящихъ словъ, одно сословіе на другое натравливать. Должно быть, полицейскій въ шею кого-нибудь съ крыльца, — сразу общій ропотъ, крикъ, ругань, — выглянулъ въ окошко изъ свидѣтельской комнаты: въ родѣ какъ манифестація — съ полиціей сраженіе! Вотъ, думаю, тебѣ и амеба! Неблагоразумно было въ такой пьяный день разбирательство дѣла назначать. А почему назначили? Исправникъ хотѣлъ обезсилить Расторгуева главнымъ по неопровержимости свидѣтелемъ: отецъ Константинъ обѣдню служитъ и неявка, значитъ, вполнѣ уважительная. А свидѣтелей и безъ того мало явилось: ни Глашеньки, ни Леночки!

Умышленно выѣхали изъ города на кумысъ, дескать, и докторское свидѣтельство изъ Симбирска представили. Значитъ, — я да Іероглифовъ, а Іероглифову, какъ лицу заинтересованному (собственноручно билъ

обвиняемаго!) Платонъ Фаддѣичъ могъ отводъ сдѣлать. Что-же, думаю, выходитъ: народу было много, а я одинъ за всѣхъ отдувайся! Слышу, — за окномъ опять крики, шумъ, драка. Выглянулъ, что-же происходитъ? Привезли пожарную машину съ кишкой, чтобы публику распугать, а слободскіе парни машину у полиціи отбили и давай ее-же поливать. Потомъ какъ струя ударитъ въ окна! — только звонъ и крикъ „ура". Чуть отвернуться поспѣлъ, какъ въ свидѣтельскую ударило и прямо въ спину господину Іероглифову! И смѣшно, знаете, и страшно. Не судъ, а осадное положеніе выходитъ. Что-же вы думаете? Такъ въ этотъ день и не состоялось: судья животомъ заболѣлъ и дѣло отложили. Кто-то въ „Симбирскую газету "кореспонденцію про это напечаталъ. Какъ не дознавались, автора не обнаружили. Сдается мнѣ, что написалъ неиначе, какъ самъ знаменитый адвокатъ, потому что очень ужъ задорно написано было — прямо со смѣху умереть можно. Ну, кому, знаете, смѣхъ, а кому — горе: за революціонное настроеніе публики нашего исправника убрали. Говорятъ губернаторъ его вызвалъ и сказалъ ему въ упоръ: „вы, дескать, баба беременная, а не исправникъ". А кстати надо сказать, что дѣйствительно исправникъ имѣлъ животъ прямо не отъ міра сего: ежели въ профиль посмотрѣть: точно одно брюхо въ сапогахъ!

Непремѣнный членъ окружного суда потребовалъ, чтобы дѣло объ оскорбленіи дѣвицы Расторгуевой, въ виду столь напряженной обстановки, сложившейся въ нашемъ городѣ, разсматривалось не у нашего судьи, а было перенесено въ болѣе спокойную обстановку. А тѣмъ временемъ Платонъ Фаддѣичъ озлобился. Все равно, говоритъ, пропадать, и пустилъ въ дѣйствіе свою жалобу объ избіеніи его подчиненнымъ лицомъ, учителемъ Іероглифовымъ, тростью съ оловяннымъ набалдашникомъ, при такихъ-то свидѣтеляхъ. Съ волками, говоритъ, жить — по волчьи выть! И господинъ исправ-

никъ, новый, принявшій сторону смотрителя принципіально (невозможно, дескать допустить, чтобы подчиненный своего начальника по мордѣ билъ, даже и на именинахъ!), поручился передъ судебными властями, что онъ никакихъ нарушеній благочинія и демонстрацій съ революціоннымъ настроеніемъ въ своемъ городѣ не допуститъ. И вышло такъ, что дѣло Платона Фаддѣича первымъ разбиралось и при томъ въ нашемъ городѣ... незадолго до Рождества Христова. Расторгуевъ въ защитники Іероглифову того-же знаменитаго адвоката изъ Симбирска выписалъ. Обстоятельство это публично передъ всѣмъ городомъ засвидѣтельствовало, что Расторгуевы облюбовали Пантелеймона Алексѣевича въ зятья. Чрезъ банкъ извѣстно было, что Расторгуевъ адвокату пять тысячъ перевелъ. Зря такую сумму не выбросилъ-бы. Какъ то забѣжалъ я къ Платону Фаддѣичу: ну, а кто васъ, спрашиваю, будетъ защищать? Равенства силъ не будетъ на судѣ, спеціалиста хорошаго вамъ-бы тоже надо выписать!

— Положеніе, говоритъ, очевидное.

— Да то-то неочевидное, потому что, къ сожалѣнію, никакихъ слѣдовъ на вашей физіономіи не осталось.

— А документъ освидѣтельствованія, произведенный вами своевременно? Вотъ мой самый краснорѣчивый адвокатъ, говоритъ. А затѣмъ — свидѣтели...

И вотъ насталъ приснопамятный день 20 декабря! Морозище былъ исключительный. Какъ сейчасъ помню. Новый исправникъ распорядился публику только по билетамъ пускать и при томъ только для совершеннолѣтнихъ и по суду неопороченныхъ. Впрочемъ, простая публика на сей разъ никакой любознательности не проявила. За то вся интеллигенція была на лицо. Изъ свидѣтелей всѣ, кромѣ Глашеньки, явились: оштрафованія напугались. А Глашенька, сославшись на свое интересное положеніе, къ тѣмъ порамъ наглядно выяснившееся

и при томъ земской акушеркой удостовѣренное, въ судъ не явилась.

Ну, скажу вамъ откровенно: такого суда никогда я больше въ жизни не видалъ и не увижу. Сколько разъ я на веселыхъ представленіяхъ въ театрѣ бывалъ, а такого хохоту и тамъ никогда не наблюдалъ. Конечно, свидѣтелямъ смѣяться на судѣ недозволительно, но я не въ силахъ былъ удержаться и дѣлалъ видъ, что сморкаюсь, страдая насморкомъ. Да чего спрашивать со свидѣтеля, если самъ судья раза два перерывъ объявлялъ, какъ замѣтно было, исключительно потому, что никакой возможности соблюдать нейтралитетъ у него не было, а между тѣмъ знаменитый адвокатъ какъ деревянный сидѣлъ — точно и улыбаться не умѣлъ, а когда судья въ первый разъ засмѣялся, онъ потребовалъ въ протоколъ занести. Ну, судья и дѣлалъ перерывы. Скроется въ своемъ кабинетѣ и тамъ досыта высмѣится и опять за дѣло. Всѣхъ свидѣтелей къ присягѣ привели. Благочинный приводилъ, потому что отецъ Константинъ самъ свидѣтелемъ оказался. Начали съ Іероглифова. Признаю, говоритъ, себя виновнымъ: не вынесъ глумленія надъ честной беззащитной дѣвушкой и раза три смазалъ по физіономіи, но истязаніемъ это назвать нельзя. Посмотрите на физіономію обвинителя и всѣмъ будетъ ясно, что здѣсь недобросовѣстное преувеличеніе со стороны обвинителя. Тогда Платонъ Фаддѣичъ вынимаетъ изъ бокового кармашка документъ и проситъ огласить и пріобщить къ дѣлу. Читаютъ мое освидѣтельствованіе. А я писалъ сгоряча и въ волненіи и возможно, что преувеличилъ: глазъ, дескать, затекъ и возможна потеря зрѣнія на 50 процентовъ, лѣвое ухо надорвано, есть основаніе предполагать, что поврежденъ носовой хрящъ, что часто осложняется не только потерей обонянія, но загноеніемъ и потерей самаго носа или приведеніемъ его въ состояніе полной невмѣняемости. Выпивши, конечно, писалъ и настоящей формы

не соблюдалъ, тѣмъ болѣе, что, сочиняя, не думалъ, чтобы документъ этотъ въ дѣйствіи оказался. Защитникъ попросилъ разрѣшенія задать мнѣ вопросъ и началъ насъ съ Платономъ Фаддѣичемъ подъ орѣхъ раздѣлывать. Гдѣ я учился? Сколько взимаю за освидѣтельствованіе? Не было-ли случая когда я вмѣсто больного зуба вырвалъ здоровый? Что ни вопросъ, то оскорбленіе публичное. Я кучеру Расторгуева, дѣйствительно, замѣсто одного больного и сосѣдній, здоровый, прихватилъ, такъ, вѣдь, это единичный случай на тысячу зубовъ! Знаменитые доктора, профессора, иногда ошибаются, такъ какъ-же мнѣ, фельшеру, не прощается? Я тогда начиналъ только зубную практику. А что, если-бы покойники раскрыли намъ, сколько ихъ изъ-за докторовъ на тотъ свѣтъ отправилось? Все это потомъ мнѣ въ голову пришло, а тутъ прямо даръ словесности утратилъ отъ налета. Меня оттяпалъ и на Платона Фаддѣича: передъ нами, говоритъ, человѣкъ зрячій на оба глаза и даже безъ очковъ, оба уха на мѣстѣ, носъ въ полномъ порядкѣ и очень и очень красивое лицо безъ всякихъ признаковъ прогулки по нему палки съ оловяннымъ набалдашникомъ... Судя по прочитанному документу, говоритъ, мы могли ожидать въ лицѣ потерпѣвшаго калѣку безъ ушей, глазъ и носа, а между тѣмъ... Вотъ тутъ судья и хихикнулъ вмѣстѣ со всей публикой, а тогда защитникъ потребовалъ занести въ протоколъ, что судья смѣялся во время процесса. Начали свидѣтелей допрашивать. Отецъ Константинъ очень тихо говорилъ, а знаменитый адвокатъ все покрикивалъ:

— Прошу громче! Ничего не слыхать!

А отъ этого батюшка еще сильнѣе робѣлъ и выходило такъ, что адвокатъ ему подсказывалъ, что говорить надо. Начàла, говоритъ, я не засталъ, спорили про амебу, но онъ не вникалъ. Темнота была полная и какъ началась драка и кто кого билъ и насколько сильно,— разобрать было невозможно.

— Кричалъ потерпѣвшій? Призывалъ на помощь? спросилъ адвокатъ.

— Нѣтъ. Ни крика, ни стоновъ я не слыхалъ, — говоритъ отецъ Константинъ, — женщины кричали и плакали, но полагаю, — отъ неделикатности самого-же потерпѣвшаго.

— А вы, батюшка, находили поведеніе его неделикатнымъ?

— Не только неделикатнымъ, но даже кощунственнымъ.

— Кощунственнымъ, говорите? Разскажите подробнѣе...

Вотъ отецъ Константинъ и началъ про Адама съ Евой и какъ Платонъ Фаддѣичъ ихъ амебой замѣнилъ. И снова хохотъ. А другіе, женщины главнымъ образомъ, возмущаются. Одна крикнула: „Вонъ они чему нашихъ дѣтей въ училищѣ учатъ!“ А защитникъ Іероглифова опять на дыбки: „Прошу занести это въ протоколъ для ознакомленія попечителя округа съ религіозными воззрѣніями сего наставника и педагога!“ Но самый главный номеръ при допросѣ Леночки вышелъ:

— Что можете показать по настоящему дѣлу? — спросилъ судья.

— Конечно, говоритъ, ничего хорошаго сказать про Платона Фаддѣича не имѣю. Вполнѣ, говоритъ, безнравственный человѣкъ. Дѣвушка купается, а онъ на четверенькахъ, какъ животное, подползаетъ и уползаетъ. Сама видѣла...

И тутъ опять взрывъ въ камерѣ произошелъ отъ хохота, даже стекло у шкафа съ книгами вывалилось, всѣхъ испугало, а судья внезапный перерывъ объявилъ и скрылся. Хохотъ кругомъ, а Леночка стоитъ съ пунцовыми щечками, въ глазахъ — слезки, головка внизъ, свои золотыя косы ручками щиплетъ. Умилительное зрѣлище оскорбленной невинной красоты! Точно на позоръ выведена. Прямо икону великомученицы пиши!

и молись! Кончился перерывъ, опять для нея пытки начались. Судья очень строго сказалъ ей:

— Прошу васъ, милостивая государыня, разсказывать только то, что относится къ настоящему дѣлу, а не все, что болтаютъ посторонніе люди!

— Да въ настоящемъ дѣлѣ Платонъ Фаддѣичъ и ползалъ на четверенькахъ! — со слезой говоритъ Леночка. Ну, и опять — хохотъ. А Платонъ Фаддѣичъ плечами пожимаетъ, головой укоризненно на Леночку качаетъ и только руками разводитъ. Судья же, видя, что Леночка заплакать можетъ, какъ съ безтолковой дѣвочкой съ ней начинаетъ разговаривать:

— Вы, свидѣтельница, хотите сказать, что потерпѣвшій былъ настолько пьянъ, что не могъ ходить на двухъ ногахъ, какъ мы съ вами ходимъ, и потому какъ бы ползалъ? Правильно я васъ понимаю?

— Неправильно, — говоритъ Леночка. — Я, — говоритъ, — пошла искупаться подальше, къ лѣску, гдѣ никого не было. Раздѣлась, а въ воду лѣзть не хочется. Ну, стою...

— Ну, стоите. Дальше, Не стѣсняйтесь, вы присягу дали...

— Если бы я присяги не давала, никогда про эти гадости не стала бы говорить!

— Ну, стоите и... что же?

— Обернулась къ лѣсу и вижу ползетъ что-то въ кустикахъ. Подумала сначала, что животное какое-нибудь... домашнее, присмотрѣлась, — человѣкъ...

— Куда онъ ползъ?

— Къ лѣсу.

— Значитъ, лица вы не видали? Какъ же вы можете утверждать, что это былъ Платонъ Фаддѣичъ?

— Онъ подглядывалъ, а потомъ уползъ, — говоритъ Леночка и разсказываетъ про шляпу. А Платонъ Фаддѣичъ съ мѣста кричитъ:

— Клевета! А еще дочь благочиннаго?

Леночка перекрестилась и вдругъ разрыдалась. Всѣ притихли. Видя простоту и чистоту этой дѣвушки, невозможно было ей не повѣрить, а потому вся публика прониклася къ ней жалостью и полнымъ довѣріемъ и въ такой же мѣрѣ почувствовала презрѣніе къ невинному въ этой исторіи человѣку. Многія женщины, точно опасность для себя отъ Платона Фаддѣича почувствовали, хотя, если бы онѣ купались, никто-бъ на нихъ не только ползать, а съ разрѣшенія не сталъ бы глядѣть. —„Безнравственный негодяй“! — одна изъ такихъ прошипѣла на всю камеру, а Платонъ Фаддѣичъ вскочилъ и заявляетъ:

— Я требую, господинъ судья, оградить меня отъ оскорбленій во время суда!

А въ отвѣтъ опять хохотъ публики. Судья пригрозилъ публику удалить и тогда притихли: никому неохота съ безплатнаго представленія уходить. Гляжу на Платона: блѣдный съ зеленью сталъ, рука трясется, губа нижняя смѣется, а лѣвый глазъ подмигиваетъ... И въ этотъ моментъ я угрызеніе совѣсти почувствовалъ: вѣдь, не онъ, а я ползалъ! А, вѣдь, я тоже присягу принялъ! Леночка не рыдаетъ, но плачетъ и всхлипываетъ. Какъ есть подросточекъ обиженный. Что же, думаю, такъ тайнымъ подлецомъ предъ людями и явнымъ предъ Господомъ и останусь? Великая сила въ насъ Богомъ заложена, совѣсть эта самая. Понатужился духомъ и всталъ:

— Дозвольте, говорю, относительно показанія Елены Михайловны Боголюбовой срочное заявленіе внести! Въ виду присяги и долга совѣсти публично заявляю, что не Платонъ Фаддѣичъ, а я лично на четверенькахъ тогда ползалъ и безъ всякаго безнравственнаго умысла, а совсѣмъ напротивъ!

— Неправда! — вскрикнула Леночка.

Я сталъ разъясненіе давать относительно недоразумѣнія со шляпами, — всѣ хохочутъ и чувствую,

что никто мнѣ не вѣритъ. А Платонъ Фаддѣичъ платкомъ потъ вытираетъ и произноситъ:

— Хотя одинъ человѣкъ честно показываетъ!

А адвокатъ знаменитый: „позвольте вопросъ задать!“

— Свидѣтельница! — говоритъ, — а не допускаете вы, что ползли двое, но одинъ уже успѣлъ выползти изъ вашего поля зрѣнія?

И опять вся камера рявкнула отъ хохота, а судья моментально перерывъ объявилъ и проворно въ дверь кабинета! Смотрю на публику и вижу вмѣсто одобренія моему искреннему и честному поведенію, одну насмѣшку и враждебность.

— Два сапога — пара! — произноситъ совершенно нейтрально адвокатъ — точно вслухъ обдумываетъ, и карандашикомъ постукиваетъ. А обвиняемый Іероглиглифовъ сидитъ именинникомъ, галстучекъ оправляетъ и знакомымъ улыбку посылаетъ въ публику. Прямо вся душа возмущается: человѣка избили: а вмѣсто удовлетворенія — одинъ позоръ и будто судятъ не господина Іероглифова, а Платона Фаддѣича! Да, и я начинаю себя въ родѣ какъ обвиняемымъ, а не свидѣтелемъ чувствовать. Вотъ, вѣдь, какъ выписанный защитникъ все дѣло повернулъ! Вотъ и выходитъ, что дорого да мило. Будто еще и никакихъ рѣчей не произнесъ, а уже одними подковырками своими, какъ ему надо, всѣ шашки разставилъ. Раздавилъ, можно сказать, Платона Фаддѣича мимоходомъ, какъ муравья. Дошла очередь ему свое слово сказать, вотъ, думаю, всю свою образованность покажетъ, а онъ съ голосу спалъ и вмѣсто того, чтобы о своей избитой мордѣ, въ чемъ фундаментъ его дѣла, объ амебѣ городитъ. Публика хохочетъ, судья говоритъ, что у насъ не лекція по естественнымъ предметамъ для учащихся и требуетъ говорить по существу. Платонъ Фаддѣичъ обидѣлся и заявилъ: разъ мнѣ затыкаютъ ротъ, я предпочитаю ни-

чего не говорить. И такъ взволновался, что взялъ шляпу и пошелъ, было, вонъ. Безсознательно вышло.

— Потрудитесь остаться! Дѣло не окончилось.

И всѣмъ опять смѣшно стало. Такъ поняли, что самъ не радъ, что дѣло затѣялъ. Раза два судья примириться сторонамъ предлагалъ, — оба головами отмахиваются Пришла очередь защитнику Іероглифова говорить. Въ залѣ, какъ въ церкви — передъ причастьемъ: тишина и вздохи. Всталъ, пинсне на носу поправилъ, встряхнулъ львиной башкой своей и началъ говорить. Говоритъ будто серьезно, а отъ смѣха точно въ пчелиномъ ульѣ. Прямо котлетку изъ Платона Фаддѣича сдѣлалъ. И про Адама съ Евой, и про амебу, и про четвереньки, и какъ только онъ его не называлъ: и дарвинистомъ, и сатиромъ, и субъектомъ, а по пути и мнѣ влетѣло и за удостовѣреніе, и за зубъ кучера, и за покаяніе въ ползаніи ..

— Вы, говоритъ, слышали показаніе чистой дѣвичьей души и видѣли чистыя дѣвичьи слезы, а съ другой стороны — дружескую самоотверженность умудреннаго житейской пошлостью пріятеля; съ циничной откровенностью, какъ о подвигѣ, признавшагося, что и онъ тоже ползалъ для платоническаго наслажденія дѣвичей красотою! Надо Бога благодарить, что въ такой средѣ какимъ-то чудомъ сохранились еще и такіе идеалисты и подлинные рыцари, какъ обвиняемый, благородный человѣкъ, безкорыстно выступившій въ защиту честной и невинной дѣвушки, за ея доброе имя, на которое, въ надеждѣ на безнаказанность, набрасываются ползающіе и пресмыкающіеся...

Слушаю я, а съ моего лица потъ катится: точно тебя плюхами кормитъ, а настоящаго ругательства нѣтъ и придраться не къ чему. Всѣ слова отъ насъ-же, свидѣтелей беретъ, а поворачиваетъ ихъ такъ, что плюха кому-нибудь получается. Вотъ что значитъ спеціалистъ своего дѣла! Тоже слово, да какъ и куда его вставить!

Поглядѣлъ я на Платона Фаддѣича, — точно ракъ сваренный: обѣ клешни на колѣняхъ въ полномъ безсиліи и въ глазахъ туманъ безсознательный. Голову преклонилъ и не шелохнется. Какъ обухомъ прихлопнулъ его спеціалистъ краснорѣчія!

А Іероглифовъ съ улыбочкой по потолку взоръ свой поводитъ и видно, что ему прямо плясать хочется.

Кончилась комедія, дивертисментъ остался: судья удалился взвѣшивать всѣ обстоятельства. Однако не больше десяти минутъ прошло, какъ обратно вернулся и всѣ на ноги вскочили: приговоръ:

— По Высочайшему, дескать, указу и такъ далѣе... слушалъ дѣло такое-то и постановилъ: три рубля штрафу!

Всѣ въ ладоши захлопали, шапку въ охапку и гурьбой-къ выходу!

Вотъ, вѣдь, публика: человѣка избили, опозорили до послѣдней границы, а имъ все мало. Уходятъ и говорятъ полнымъ голосомъ:

— За такую морду и трехъ цѣлковыхъ много!

Я въ послѣдней партіи удалился, а Платонъ Фаддѣичъ все еще въ задумчивости сидѣлъ, въ самоуглубленности. Постоялъ я маленько у крыльца: выйдетъ, думаю, — надо съ нимъ пойти, укрѣпить несчастнаго человѣка въ несчастіи. Да, вѣдь, вотъ натура человѣческая: посовѣстился вдругъ съ нимъ вмѣстѣ по улицамъ города идти, махнулъ рукой и скорехонько домой — обѣдать! До трехъ часовъ проморили, а я утромъ только стаканчикъ чайку успѣлъ перехватить...

Пришолъ домой, наѣлся щей до отвалу да спать! Надо быть, отъ волненія до самаго вечера проспалъ. Я отъ волненія всегда крѣпко засыпаю. Ну, проснулся,— стемнѣло ужъ. Хотѣлъ послѣ чаепитія на прогулочку пойти, а на дворѣ снѣжная пурга. Думалъ въ клубѣ побывать да не рѣшился: стыдно что-то на людей было смотрѣть. Вотъ, вѣдь, меня мимоходомъ только спеціалистъ краснорѣчія коснулся, а и то какое униженіе

въ душѣ осталось, а каково теперь, думаю, Платону Фаддѣичу?

Такъ никуда и не пошелъ. А на другой день, часовъ такъ въ пять утра, темно еще было, кто-то въ ставню стучитъ. Обругался, конечно: думалъ, у кого-нибудь зубъ заболѣлъ (насъ, вѣдь, публика не жалѣетъ! Полагаютъ, что мы и спать не имѣемъ права, когда у нихъ зубы болятъ!). Чертыхнулся раза три, а вставать надо. Запалилъ лампу, накинулъ на плечи одѣяло иду отперѣть. Отперъ и удивился: Машенька! Солдаточка!

— Бѣги, говоритъ, Христа ради, со мной!

— Что такое? Куда?

Заревѣла и кричитъ:

— Удавился онъ, Платонъ-то! Что дѣлать-то? Тепленькій еще...

— Съ петли-то сняла?

— Боюсь я! Пойдемъ ради Господа!

Обругалъ Машеньку дурой, надѣлъ на босу ногу валеные сапоги, полушубокъ на исподнее, побѣжали. А снѣгу навалило, — сугробы! Вязнешь. Покуда добѣжали, — трупъ образовался. Радуйтесь, говорю, люди добрые: побѣдили! А у самого — слезы въ глазахъ и судороги въ горлѣ. Снялъ его, несчастнаго: поглядѣть и страшно и совѣстно передъ самимъ собой. Припалъ и заплакалъ...

Ну, а дальше что разсказывать? Полиція, понятые, протоколъ, панихида, — все своимъ порядкомъ, какъ установлено. Думали, — записку какую-ни-на есть оставилъ, какъ обыкновенно. Всѣ ящики въ столахъ, бумаги, въ кармашкахъ всякихъ обыскали, — ничего! Не пожелалъ съ нами, съ живыми, никакихъ разговоровъ душевныхъ.

Мы съ докторомъ вскрытіе производили. Никакихъ ненормальностей не обнаружили. Я, между прочимъ, мозгами поинтересовался: всетаки большого ума

человѣкъ былъ. И ничего особеннаго не обнаружилъ. Я всегда говорилъ: мозги мозгами, а главное — душа. А ее въ мертвомъ человѣкѣ не увидишь. Помимо всего я въ высшую справедливость вѣрю... Хотя-бы и этотъ случай. По нашему суду Іероглифовъ тремя рублями отдѣлался и дѣло противъ него, за смертью истца, было прекращено, а вотъ Господь Богъ по своему распорядился: замѣсто Іероглифова на Амебѣ-то знаменитый спеціалистъ, адвокатъ, женился и увезъ ее въ Симбирскъ.

Говорили, что за Амебой тотъ сто тысячъ приданаго взялъ!

Вотъ тебѣ и женихъ! Сперва невѣсту потерялъ, а въ скоромъ времени и учительское мѣсто потерялъ. Безъ мундира и безъ пенсіи, какъ говорится... Ужъ и потѣшались-же надъ нимъ насчетъ женидьбы! Я думаю, что отъ этихъ насмѣшекъ онъ и пить началъ. Года два еще въ нашемъ городѣ проболтался, шлялся по трактирамъ, кляузы да стихи писалъ, постоянно купцу Расторгуеву скандалы на улицѣ устраивалъ. Тотъ сперва боялся его и все рубликами откупался. А потомъ терпѣніе лопнуло, пожаловался губернатору и выслали этого жениха куда-то. А онъ однажды лѣтомъ самовольно вернулся и хлѣбные лабазы купца Расторгуева поджегъ. И, вѣдь, какъ удачно для „Саламандры“ вышло: страховка въ двѣнадцать ночи кончилась, а въ два часа ночи — пожаръ. Не успѣлъ перестраховаться-то... Самъ въ Сибирь пошелъ, ну да и купца Расторгуева раззорилъ...

Вотъ какъ вышло: люди вознесли, а Богъ на свое мѣсто всѣхъ поставилъ!

Черемуха.

Поѣздъ долго стоялъ на глухой степной станціи: пропускалъ курьерскій. Скучая отъ томительнаго бездѣйствія, которое дѣлалось еще болѣе надоѣдливымъ отъ прерваннаго движенія, пассажиры, какъ птицы изъ клѣтокъ или звѣрье въ зоологическомъ саду, повысовывали скучающія физіономіи изъ оконъ и прицѣплялись глазами къ чему попало: къ пробѣгающей собакѣ, къ кустамъ цвѣтущей въ станціонномъ садикѣ сирени, къ роющейся въ навозѣ курицѣ, къ окну, за которымъ молоденькій телеграфистъ принималъ депеши, къ позѣвывающему во весь ротъ сторожу на лавочкѣ.

Всѣ точно обрадовались, когда изъ дверей маленькаго вокзала, словно стая весело щебечущихъ птицъ, выпорхнула взволнованная компанія молодыхъ людей и дѣвушекъ, видимо, кого-то прввожающихъ... Торопились и радовались, что по счастливой случайности захватили поѣздъ... Ожила сонная скучающая станція! Привѣтливо улыбались изъ оконъ лица пассажировъ. Точно сама радость прилетѣла внезапно въ скучное мѣсто и всѣмъ сдѣлалось весело. Пріятно позванивали колокольчики, пары лошадей, на которыхъ пріѣхала молодежъ. Появился въ красной шапкѣ начальникъ станціи, похожій на гордаго цицарскаго пѣтушка и, какъ курочки, обступили его со всѣхъ сторонъ дѣвушки въ яркихъ цвѣтныхъ платьяхъ и кофточкахъ. Пѣтушокъ кокетничалъ, прикладывалъ руку къ козырьку и давалъ разъясненія.

Только двое изъ молодой компаніи стояли въ сторонкѣ: студентъ съ чемоданомъ и дѣвушка, вся въ бѣломъ, съ огромной вѣткой цвѣтущей черемухи. Лицо молодого человѣка было серьезно, лицо дѣвушки грустно-счастливо. Она прикрывалась кустомъ черемухи и любовно и тайно останавливала черныя, какъ маслины, глаза, на молодомъ человѣкѣ, а когда ихъ глаза встрѣчались, застѣнчивая улыбка, шевелившая губы молодого человѣка, сразу изобличала влюбленнаго. Перекидывались они рѣдкими и тихими словами и всѣмъ пассажирамъ хотѣлось подслушать и убѣдиться, что тутъ — любовь. Впрочемъ, ни у кого не стало больше сомнѣній на этотъ счетъ, когда вдали загромыхалъ приближавшійся курьерскій поѣздъ: молодые люди обмѣнялись страдальчески счастливыми взорами...

Зазвонилъ станціонный колоколъ и оказалось, что уѣзжаетъ только одна дѣвушка въ бѣломъ, съ вѣткой черемухи. Дѣвушки обсыпали ее торопливыми поцѣлуями, одна даже перекрестила: молодые люди крѣпко жали ей руку.

Влюбленный студентъ скакнулъ съ чемоданомъ бѣлой дѣвушки въ вагонъ, за нимъ — она, бѣлая, съ черемухой. Нѣсколько минутъ провожающіе толпились около вагона и искали глазами по окнамъ. Раздался второй звонокъ, и влюбленный студентъ выскочилъ, точно пьяный, а въ одномъ изъ оконъ колыхнулась вѣтка черемухи и обрисовалось пунцовое отъ волненія и счастливое лицо дѣвушки съ сверкавшими на рѣсницахъ слезинками. Громыхнулъ пролетѣвшій стрѣлою курьерскій, потомъ печально зазвонилъ послѣдній колоколъ и поѣздъ шевельнулся и дернулся, звякнулъ сцѣпами и буферами...

И вотъ все сразу оборвалось. Только на горизонтѣ лентой висѣлъ дымъ умчавшагося поѣзда. И снова стало скучно: скрылась за дверями вокзальчика и проводившая дѣвушку молодежъ. Только долго еще звенѣли

колокольчики пары, на которой кто-то уносился въ даль. И плакала кукушка въ лѣсу за станціей...

Началось это еще во время стоянки поѣзда. Когда студентъ вошелъ въ купэ и началъ устраивать чемоданъ своей невѣсты, пожилая, худосочная „пассажирка съ претензіями", сидѣвшая, какъ истуканъ, въ углу, около окна, поморщилась и угрожающе произнесла:

— Молодой человѣкъ! Это дамское купэ.

— Я знаю.

— Такъ зачѣмъ же вы сюда лѣзете?

Студентъ вспыхнулъ негодованіемъ. Онъ оскорбился не за себя, а за любимую дѣвушку и за ея чемоданъ, къ которому онъ чувствовалъ тоже благоговѣніе.

— Пока, мадамъ!..

— Я не мадамъ!..

— Извините, я не ясновидящій. Я, мадемуазель, не лѣзу, а провожаю и помогаю устраивать вещи. Хотя чемоданъ — имя существительное мужескаго рода, однако, владѣлецъ его — особа одного съ вами пола, хотя и весьма отличается возрастомъ...

Студентъ отомстилъ и, выглянувъ въ корридорчикъ, позвалъ:

— Сюда, Вѣра Владиміровна!!...

Въ купэ вошла дѣвушка съ черемухой и картонкой, положила то и другое на столикъ у окна, и молодые люди вышли и долго шептались у дверей. „Пассажиркѣ съ претензіями" почудилось даже, будто бы они тамъ цѣлуются...

— Ни стыда, ни совѣсти! — прошептала она, однако, настолько внятно, что „нахалы", видимо, слышали: дверь въ купэ неожиданно, точно сама собой, плотно затворилась. Потомъ звонки. „Нахалка" появилась въ купэ и безцеремонно заняла все окно, продолжая безцеремонно флиртовать съ „молодыми оболтусами", гурьбой сбѣжавшимися провожать эту „подозрительную

дѣвицу". Вотъ такія нахалки быстро выскакиваютъ замужъ, а скромныя дѣвушки, такія, какъ она, напримѣръ, — не заслуживаютъ вниманія современныхъ мужчинъ... Пассажирка раскрыла сумочку и посмотрѣлась въ миніатюрное зеркальце. Вздохнула, замѣтивъ гусиныя лапки около глазъ, и сердито щелкнула замкомъ сумочки:

— Мадемуазель! Не забывайте, что вы ѣдете не въ отдѣльномъ купэ и что окно сдѣлано для освѣщенія, а не для провожанія поклонниковъ!

Поѣздъ двинулся. Вѣрочка почувствовала рѣзкій взрывъ разлуки и ничего не видѣла и не слышала, а лишь пристально, со слезинками на глазахъ, смотрѣла назадъ, гдѣ осталась миніатюрная, какъ карточный домикъ, станція, съ которой еще мелькали платочки провожавшихъ...

— Мадемуазель! Но вы лѣзете чуть не на колѣни!..

— Простите, простите, мадамъ... Я сейчасъ...

Ну, вотъ, все оторвалось... Осталась только вѣтка черемухи. Въ ней точно спрятано Вѣрочкино счастье. Необыкновенная черемуха. Вѣрочка купаетъ въ ней свои еще пылающія щечки и незамѣтно цѣлуетъ легкимъ прикосновеніемъ губъ и тайно говоритъ:

— Милый... милый, прекрасный, любимый... ты всѣхъ лучше на свѣтѣ...

Ароматъ черемухи и любви радуетъ дѣвичью душу, пьянитъ ее грядущимъ счастьемъ. Сердце стучитъ радостную тревогу, хочется запѣть, засмѣяться, расцѣловать весь міръ, а въ томъ числѣ и сердитую раздражительную спутницу. Вѣрочка чуть-чуть слышно шепоткомъ напѣваетъ любимый романсъ „человѣка, который лучше всѣхъ на свѣтѣ": „То было раннею весной". Напѣваетъ безъ словъ, потому что и слова этого романса — ея тайна, сокровенная, завѣтная...

— Не выношу черемухи: тяжелый и... вульгарный запахъ!.. Особенно, когда начинаетъ вянуть...

Вянуть? Нѣтъ, нѣтъ! Она сохранитъ эту вѣтку надолго... Вѣрочка бѣжитъ въ уборную и приноситъ стаканъ съ водою.

— Пей холодную водицу! — шепчетъ дѣвушка, устраивая черемуху въ стаканѣ. Не держится: перетягиваетъ и валится.

— Мадемуазель! Прошу поосторожнѣе. Вы уже сдѣлали тутъ лужу.

— Это не бѣда...

Пассажирка вышла. Скоро появился проводникъ съ тряпкой. Вытеръ лужицу, понюхалъ цвѣты и сказалъ дѣловито:

— Духъ хорошій у черемухи бываетъ.

Пока проводникъ вытиралъ лужицу, Вѣрочка держала черемуху обѣими руками на высотѣ, словно боялась, что ее оскорбятъ прикосновеніемъ тряпки. Потомъ все успокоилось. Вернулась пассажирка, и въ купэ запахло табакомъ. Она вынула изъ чемодана думку, сунула ее въ уголокъ и, прильнувъ головою, склонилась и стала клевать носомъ. Смѣшная такая! Похожа на цаплю: длинный носъ и длинныя тонкія ноги. Подъ закрытыми глазами — синіе мѣшечки и родинка на самомъ кончикѣ носа. Вѣрочка смотрѣла на нее съ любопытствомъ и сожалѣніемъ. Посмотрѣлась въ зеркальце, улыбнулась и подумала: „Слава Богу, что я — хорошенькая!“...

Потомъ глубоко вздохнула и стала думать. Никто не мѣшалъ ей теперь думать о своемъ счастьи. А счастье было огромное. Вмѣстѣ съ ароматомъ черемухи оно пропитало собою не только все купэ, но и все, что мелькало за окномъ. А тамъ подкрадывался тихій ласковый весенній вечеръ и скорая ночь. Съ луговъ тянуло прохладой, напитанной травами и луговыми цвѣтами: пахло то медомъ, то теплой землей, то ланды-

шами. Словно изъ-подъ земли на взгорьяхъ появлялись колоколенки сельскихъ церквей, выплывали бѣлыя хатки, пробѣгали телеграфные столбы, запушенные молодыми душистыми листочками березы и ивы, съ шумливыми грачами. И все было въ румяномъ золотѣ закатныхъ огней! Боже! Какъ прекрасенъ Твой міръ!

Вѣрочка высунулась въ окно и жадно пила весенній ароматъ. Тихо-тихо, какъ комарикъ, вытягивала мотивъ романса „То было раннею весной“ и подставляла свое счастливое личико поцѣлуямъ скакавшаго навстрѣчу вѣтра, заигрывавшаго съ ея колечками волосъ надъ ухомъ...

— Мадемуазель! Потрудитесь закрыть окно! Я озябла.

Вѣрочка не сразу поняла. Тогда пассажирка отстранила ее отъ окошка и сердито подняла раму.

— Тогда будетъ душно...

— Душно отъ вашей черемухи. Невыносимо! При открытомъ окнѣ холодно, а закроешь — черемухой воняетъ...

— „Воняетъ!“

— Если бы не мнѣ, а вамъ подарили эту черемуху, — она, навѣрное, пахла бы очень пріятно... — раздраженно огрызнулась Вѣрочка, придвигая поближе къ себѣ черемуховый кустъ.

Пассажирка что-то понюхала изъ пузыречка и сказала:

— Я прежде всего не взяла бы черемухи. Надо имѣть очень невзыскательное обоняніе и плохой вкусъ, чтобы дарить черемуху... Для деревенскихъ дѣвокъ еще туда-сюда, а для культурнаго носа...

— Для вашего?

Вѣрочка искусственно засмѣялась. Вопросъ былъ злой, потому что билъ прямо по носу оскорбительницу любимаго человѣка. Пассажирка дернулась и сжала

тонкія губы, а Вѣрочка предложила ей взять отдѣльное купэ.

— Мнѣ, мадемуазель, нѣтъ никакой надобности въ такомъ уединеніи, а вотъ для поцѣлуевъ было бы оно кстати, удобнѣе для насъ обоихъ, — злобно отвѣтила изъ угла пассажирка и, повысивъ тонъ, прибавила:

— Я попрошу васъ убрать черемуху изъ купэ: отъ нея у меня начинается мигрень.

— А мнѣ какое дѣло! Убрать некуда и... не желаю.

— Поставьте въ уборной!

Вѣрочка вспыхнула: это уже было умышленное оскорбленіе.

— Я не хочу съ вами разговаривать. Оставьте меня въ покоѣ!

— Вы дѣвченка и не смѣете такъ говорить со старшими. Гдѣ вы воспитывались?

— Я уже кончила гимназію! — соврала Вѣрочка съ достоинствомъ.

— Очень жаль! Если бы я знала вашихъ родителей, я посовѣтовала бы имъ отдать васъ въ мою гимназію... У насъ такихъ злыхъ и дерзкихъ нѣтъ...

— Вы сами злая... Вы, должно быть, никогда не были счастливой...

Наступило долгое молчаніе. Пассажирка звѣремъ поглядывала на дѣвушку и на черемуху. Что-то ворчала себѣ подъ длинный носъ съ родинкой. Вѣрочка ткнулась въ уголокъ и прикрылась висѣвшимъ пальто, такъ, чтобы не видѣть спутницы. Такъ и заснули обѣ въ воинственно-молчаливомъ настроеніи. Вѣрочкѣ снилось, что она летитъ на крыльяхъ надъ садомъ, бѣлымъ отъ цвѣтущей черемухи, когда она проснулась отъ стука: хлопнула рама окна. Вѣрочка испуганно сѣла на диванчикѣ и осмотрѣлась: пассажирка укладывалась лицомъ къ стѣнѣ и что-то ворчала. Окно закрыто.

Въ него заглядываютъ съ небесъ пугливыя еще звѣзды...

— Гдѣ же черемуха? Гдѣ моя черемуха?!

— Я выкинула ее за окно. Можно задохнуться отъ вашей глупой черемухи...

Вѣрочка ткнулась въ подушечку и потихоньку заплакала...

Плакала тайно, потому что было стыдно плакать вслухъ. Кончила плакать и поднялась противная икота, которую тоже надо было прятать. Отъ этого горе ослабѣло и сдѣлалось смѣшно. Тайная радость, свившая себѣ гнѣздышко въ душѣ бѣлой дѣвушки съ черными, какъ маслины, глазами, побѣдила и дѣлала самую печаль радостной. Черемухи нѣтъ, а вѣдь любовь осталась и никто ея не отниметъ, даже эта некрасивая и злая женщина!.. Смѣшная! Похожа на цаплю... Что она тамъ сопитъ? Неужели уже заснула? Нѣтъ... смѣется, что ли...

Вѣрочка вслушалась въ молчаніе. Къ ритмическому шуму и стуку шедшаго поѣзда подмѣшались странные, похожіе и на смѣхъ, и на плачь, звуки. А когда поѣздъ остановился у станціи, стало Вѣрочкѣ ясно, что пассажирка плачетъ, всхлипывая въ думку...

— Что съ вами? — тревожно спросила Вѣрочка.

— Дайте мнѣ воды... — прошептала пассажирка, проглатывая свои всхлипыванія.

Вѣрочка сбѣгала за водой и, подсѣвъ къ плачущей, напоила ее, какъ больную, водой. Потомъ случилось совсѣмъ непонятное, сперва испугавшее, а потомъ до слезъ растрогавшее дѣвушку: пассажирка обхватила ее за шею обѣими руками, прижала къ себѣ и стала цѣловать, приговаривая сквозь слезы:

— Простите меня... простите меня... Я злая, скверная...

Вѣрочка обняла злую и расплакалась...

Задача.

...Какъ сейчасъ смотрю въ раскрытый задачникъ Малинина и Буренина и вижу отмѣченный кружочкомъ № 1299 и чернильную кляксу, навсегда запечатлѣвшую эту головоломную задачу на всѣ четыре дѣйствія въ моей памяти. Роковая задача, и да будетъ благословенна память покойнаго уже учителя математики, который задалъ эту задачу на пасхальныя каникулы гимназисткамъ пятаго класса Казанской Ксеніевской гимназіи. Дѣло, конечно, не въ гимназіи, а въ томъ, что была Пасха, а я былъ влюбленъ въ гимназистку Ниночку Шамраевскую, которая разбила взлелѣянную мной надежду похристосоваться съ ней, заявивъ, что она съ мужчинами не христосуется...

— Почему, Нина Аркадіевна?

Она только пожала плечами и вспыхнула.

Это было послѣ Свѣтлой заутрени, когда и въ церкви и около нея звенѣли поцѣлуи, а я, послѣ долгихъ мукъ ожиданія подходящаго момента, поймалъ Ниночку при выходѣ изъ церкви и, воскликнувъ многозначительно вопросительно „Христосъ Воскресе?“ сдѣлалъ соотвѣтствующее ожидаемому поцѣлую движеніе.

— Почему? Древній обычай. Поемъ „и другъ друга обымемъ“, а вы даже похристосоваться отказываетесь! А я цѣлый годъ ждалъ этого...

— Вотъ поэтому-то и не хочу!

И вотъ задача № 1299! Кто-то купилъ карету,

сѣдло и лошадь за довольно значительную сумму и заплатилъ за карету вдвое больше сѣдла, а за лошадь втрое больше кареты, — узнать, сколько этотъ „нѣкто“ заплатилъ за каждый предметъ...

Когда я зашелъ къ Шамраевскимъ, чтобы поздравить родителей Ниночки, ихъ не оказалось дома. Нельзя сказать, чтобы я, встрѣченный Ниночкой, огорчился отсутствіемъ ея родителей. Я торопливо повѣсилъ пальто на вѣшалку и послѣдовалъ за Ниночкой, какъ подобаетъ визитеру, въ залъ, гдѣ сверкалъ Пасхальный столъ и весеннее солнышко, пахло сдобными куличами и цвѣтущей сиренью, кустъ которой украшалъ нарядный столъ и былъ похожъ на Ниночку, нарядившуюся во все бѣлое и украсившую свою головку вѣточкой отъ этого куста.

— Хотите пасхи... или ветчины... Пожалуйста не церемоньтесь! Вѣра! Иди къ намъ. Появилась Ниночкина подруга Вѣра, некрасивая бѣлесоватая дѣвушка съ веснушками на лицѣ и съ косичкой, напоминавшей телячій хвостъ.

— Что, не рѣшила?

— Нѣтъ, не выходитъ.

— Проклятая задача!!

Поинтересовался, въ чемъ дѣло. Какъ ни бьются, не могутъ рѣшить заданной на пасхальныя каникулы задачи.

— По алгебрѣ, съ иксомъ, легко рѣшить, а вотъ безъ иксовъ не можемъ...

— Вы, женщины, вообще не математики... — сказалъ я, играя перчатками. — Отвлеченное мышленіе не ваша область!

— Скажите пожалуйста! А Ковалевская?

— Только и есть, что Ковалевская. Одна ласточка весны не дѣлаетъ.

— Попробуйте — рѣшите! Папа и то не рѣшилъ...

— Хотите на пари?

Дѣвушки переглянулись, молчаливо обмѣнявшись согласіемъ:

— На что? Хотите на вѣточку сирени?

— А дискресіонъ!

На лицѣ Вѣрочки застыло недоумѣніе, Ниночка вспыхнула.

— На что?

Нина, смущенно краснѣя, объяснила подругѣ!

— Если рѣшитъ, то можетъ потребовать, что вздумается.

— А если у меня нѣтъ этого? — испуганно спросила Вѣра.

— Я не потребую невозможнаго.

Молчаніе. Переглядка. Въ глазахъ Вѣрочки — вопросъ, глаза Ниночки — въ стыдливой туманности.

— Такъ какъ же? Согласны?

— Онъ все равно не рѣшитъ! Я въ этомъ увѣрена, — бросаетъ Вѣрочка.

— А вдругъ рѣшитъ?

Отошли въ сторонку, пошептались. Издали:

— А если не рѣшите?

— Тогда вы требуйте, что угодно! Конечно, исключая невозможнаго...

— Сочиненіе о значеніи монастырей написать можете? — спросила Вѣра.

— Зачѣмъ ты открываешь свои карты? Потребуешь и кончено!

— Я — сочиненіе... А ты?

— Я не скажу. Послѣ узнаетъ...

Снова совѣщаніе шопотомъ и потомъ:

— Идемъ въ мою комнату! Мы согласны.

Дѣвичья комната. Радостная, сверкающая бѣлизной и непорочностью. А на столѣ — хаосъ: рѣшали проклятую задачу. Усѣлись.

— Вотъ! № 1299 — подставляя раскрытый задач-

никъ, сказала Нина и, ткнувши ручкою въ задачу, сдѣлала кляксу.

— Ахъ, проклятая!...

Вѣрочка слизнула кляксу и долго полоскалась около умывальника. Я погрузился въ чтеніе и обдумываніе задачи, а Ниночка стояла за моей спиной и благоухала сиренью. Это мѣшало мнѣ сосредоточиться. Я ощущалъ близость любимой дѣвушки и плоховато соображалъ. Уже Вѣрочка привела свои толстыя губы въ порядокъ и посмѣивалась, стоя напротивъ меня. Я мычалъ, поглаживая свою голову и начиналъ краснѣть.

— Ага! Что? Вотъ и не хвалитесь въ другой разъ.

Удивительно! Я мастерски рѣшалъ арифметическія задачи болѣе сложной конструкціи, со множествомъ водоемовъ и спускныхъ и напускныхъ крановъ, а тутъ не узнавалъ самого себя.

— Гм... Допустимъ, сѣдло стоитъ иксъ рублей...

— Э! Съ иксами? Этакъ-то мы и сами рѣшили!

— Да, да... вамъ надо безъ иксовъ?

— Вотъ то-то и есть!

Ниночка склонилась надъ моей головой, пожирая глазами знаки, бросаемые мной перомъ на листъ бумаги. Дышала мнѣ въ затылокъ, щекотала завиткомъ волосъ, и всѣ мои математическія способности улетали, какъ дымъ раскуриваемой въ волненіи папиросы.

Дѣвушки радостно хихикали и уже совѣщались въ уголку около окна, что имъ отъ меня потребовать, когда любовная взволнованность на минуту освободила мое сознаніе, и я, точно прозрѣлъ вдругъ и побѣдно ухмыльнулся. При помощи приведенія къ единицѣ! Нѣтъ ничего проще... Самое дешевое — сѣдло = 1, тогда карета = 2, а лошадь = 2 × 3, то-есть 6. Всего частей...

— Готово!

— Сколько? Сколько?

Ниночка выхватила задачникъ и устремилась въ отдѣлъ „отвѣтовъ“. Вспыхнула до ушей и прошептала

— Вѣрно...

— Ну, какъ вы рѣшаете? Безъ икса?

— Безъ всякихъ иксовъ! Извольте...

Все продѣлалъ на бумагѣ еще разъ и побѣдно обозрѣлъ смущенныхъ дѣвушекъ.

Растерянность. Досада. Точно не рады, что я сдѣлалъ имъ задачу.

— Хотите ветчины? Вы такъ мучались, что навѣрное — проголодались?

— Ветчины не надо, а вотъ... проигрышъ... требую.

— А что вы хотите отъ насъ? Только безъ глупостей, пожалуйста! — говоритъ Ниночка, а сама уже въ испугѣ и волненіи.

— Я требую одинъ поцѣлуй!

— Ни за что! Я такъ и знала... — обиженно бросаетъ Ниночка.

— А если знали, то зачѣмъ же согласились?

Опять въ уголкѣ. Совѣщаются шепотомъ. Слышу обрывки фразъ. Вѣрочкинъ шепотъ: „на Пасхѣ можно... всѣ христосуются!“

— Согласны!

Подошла смущенная Вѣрочка и сказала:

— Ну, Христосъ воскресе!..

Трижды поцѣловался съ Вѣрочкой. Поднялъ глаза на Нину, стоявшую у окна и насмѣшливо смотрящую на насъ съ Вѣрочкой.

— Нина Аркадьевна! Я жду!

— Чего? Вы уже получили! Вы потребовали одинъ поцѣлуй и получили его...

Но тутъ я нашелъ горячую поддержку со стороны Вѣрочки:

— Почему я одна должна платить пари? Это ужъ жульничество съ твоей стороны! Если бы я знала, то...

— Я назначалъ поцѣлуй для каждой изъ васъ...

— Конечно! Нинка, не вздорь! Зачѣмъ же ты меня подвела?..

Подруги поссорились. Вѣрочка выпорхнула изъ комнаты. Я сидѣлъ у стола въ трагической позѣ. Нина побѣжала за подругой и вернулась:

— Вотъ не ожидала! Вѣрка обидѣлась и ушла...

— Разрѣшите и мнѣ...

Я пожалъ плечами.

— Ну, не сердитесь на меня... Я не могу... Мнѣ... стыдно...

Умоляющій взглядъ, виноватый и покорный...

Христосъ воскресе!

— Ну... во истину...

Опустила головку. Закрыла глаза. Спрятала губы. Трижды поцѣловалъ горящую пунцовую щеку. Нина убѣжала въ дальнія комнаты. На полу осталась вѣточка сирени съ ея головки. Поднялъ, поцѣловалъ вѣточку и ушелъ, полный побѣдной радости и ликованія. Шелъ и хотѣлось плясать подъ музыку краснаго Пасхальнаго звона...

Универз. библиотека „Св. Марко“ БЕОГРАД

Евгеній Чириковъ.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	Стр.
1) Ледоходъ	3
2) Новодѣвичье	55
3) Городокъ	127
4) Черемуха	181
5) Задача.	189

Универз. библиотека „Св. Сава" БЕОГРАД

РУССКАЯ БИБЛІОТЕКА.

Вышли изъ печати:

5. **А. В. Амфитеатровъ.** — „Заря русской женщины", очерки.
14. **А. В. Амфитеатровъ.** — „Русскій попъ XVII вѣка".
11. **К. Д. Бальмонтъ.** — „Въ раздвинутой дали", поэма о Россіи.
12. **И. А. Бунинъ.** — „Грамматика любви", разсказы.
6. **З. Н. Гиппіусъ.** — „Синяя книга".
7. **Б. К. Зайцевъ.** — „Разсказы".
33. **Игорь-Сѣверянинъ.** — „Классическія розы", стихи.
8. **А. И. Купринъ.** — „Елань", разсказы.
20. **А. И. Купринъ.** — „Колесо времени", разсказы.
15. **В. Н. Ладыженскій.** — „За рубежомъ", разсказы.
18. **Б. А. Лазаревскій.** — „Лиза", разсказы.
1 и 2. **Д. С. Мережковскій.** — „Наполеонъ" т. I и II.
26 и 27. **Д. С. Мережковскій.** — „Атлантида—Европа".
19, 22, 23 и 28. **С. П. Мельгуновъ.**—„Трагедія адм. Колчака", т. I и II т. III, ч. I и ч. III т. II.
25. **В. Оболенскій.** — „Очерки минувшаго".
10. **А. М. Ремизовъ.** — „По карнизамъ", повѣсть.
21. **Н. Рощинъ.** — „Журавли", разсказы.
17. **Н. Теффи.** — „Книга Іюнь", разсказы.
3, 4, 16, 29 и 30. **Е. Н. Чириковъ.**—„Отчій Домъ", ром. т. I, II, III IV и V.
35. **Е. Н. Чириковъ.** — „Вечерній звонъ". Разсказы.
9. **И. С. Шмелевъ.** — „Въѣздъ въ Парижъ", Разсказы.
32. **И. С. Шмелевъ.** — „Родное".—Воспоминанія и разсказы.

Учебники:

Л. М. Сухотинъ. — „Исторія Среднихъ Вѣковъ".
Л. М. Сухотинъ. — Учебникъ: Исторія Новаго Времени.

Печатаются:

31. **И. Лукашъ.** — „Сны Петра". Трилогія въ разсказахъ.

Готовятся къ печати:

24. **А. В. Амфитеатровъ.** — „Русскій уѣздный городъ XVII в."
34. **А. В. Амфитеатровъ.** — „Дщери человѣческія", разсказы.
13. **А. М. Ремизовъ.** — „Ровъ львиный", романъ.

БИБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНОШЕСТВА.

Вышли изъ печати:

2. **Е. А. Елачичъ.** — „Сильные духомъ", разсказы.
1. **И. С. Шмелевъ.** — „На морскомъ берегу".

ДѢТСКАЯ БИБЛІОТЕКА.

Вышли изъ печати:

9. **Вѣра Буличъ.** — Сказки, книга I.
10. **В. Буличъ.** — Сказки, книга II.
1. **Народныя Русскія Сказки,** вып. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7. **Саша Черный.** — „Серебряная елка", сказки.
8. **Саша Черный.** — „Румяная книжка".

Печатаются:

11. **И. А. Еленевъ.** — „Бѣлая башня". Дѣтская.

Цѣна 35 динаръ.

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ КОМИССІЯ
Палата Академије Наука.
Јакшићева ул., бр. 2. Београд.